М. ОЛЬМИНСКИЙ

ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ ВОПРОСАМ

СБОРНИК СТАТЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1 9 3 2

М. ОЛЬМИНСКИЙ

М. ОЛЬМИНСКИЙ

ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ ВОПРОСАМ

СБОРНИК СТАТЕЙ
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
К. ЛЕПЕШИНСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1932 ЛЕНИНГРАД

Фабрика книги
«Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА БОЛЬШЕВИСТСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ПОСТУ [1]

Имя Михаила Степановича Ольминского хорошо известно всем, кто сколько-нибудь знаком с историей ВКП(б), и оно пользуется заслуженным уважением в связи, главным образом, с представлением о т. Ольминском как о большевистском литераторе с вечно воинствующим марксистским пером. Свое литературное призвание М. С. нашел не сразу, даже в зрелые годы своей жизни. Порывы литературного творчества были ведомы будущему «Галерке» еще во время его ранней юности, но вечное сомнение в том, хватит ли у него литературного таланта для того, чтобы стать литератором, парализовывало его творческую волю и не располагало к писательству. Однако подлинный талант рано или поздно должен был прорваться через все колебания, которые так долго мешали ему преодолеть излишнюю скромность.

В своем очерке «Как я стал литератором» М. С. не без юмора рассказывает, как он постепенно, путем тщательного изучения кропотливой манеры литературного творчества крупнейших художников слова (Пушкина, Лермонтова и др.) завоевывал себе убеждение, что и он сможет в конце концов выработать в себе необходимые навыки заправского литератора, если как следует поработать в этом направлении над собой. Первые пробы его литературного пера имели место во время его олекминской ссылки, когда он облюбовал себе ареною своих маленьких литературных успехов «Водосточные обозрения» (т. е. иркутскую газету «Восточное обозрение», переименованную в «Водосточное» олекминскими насмешниками, товарищами М. С. по ссылке). Но по-настоящему он вступил на литературный путь только по приезде за границу в 1904 году, где он самоопределился как большевик и не без успеха пустил в ход свой талант политического памфлетиста в полемической борьбе с меньшевиками.

[1] Настоящий очерк, впервые напечатанный в юбилейном № 5 (100) журнала «Пролетарская революция», перепечатывается здесь с некоторыми исправлениями, устраняющими выяснившиеся неточности первоначального текста.

Но прежде чем говорить об этом, скажем несколько слов об особенностях литературной физиономии М. С. Ольминского.

С чисто внешней стороны стиль его литературных произведений импонирует правильностью и простотой языка, отсутствием лишних слов и трескучих фраз. Он терпеть не может литературной «воды». Свой вкус в этом отношении он очень живо и остроумно поясняет на примере маленькой газетной фразы: «Явившаяся на место происшествия местная полиция арестовала восемь человек демонстрантов». Просеивая ненужные слова, он укладывает смысл фразы в сочетание из двух слов: «Арестовано восемь». Все остальное—от лукавого. И он остается верен этому правилу во всех своих произведениях. Такого рода литературный ригоризм и привычка в экономии слов не только не делают его речь скучной, неаппетитной, как выжатый лимон, а как раз наоборот, придают ей характер отчеканенности и законченности. Повидимому, он никогда не забывает мудрого правила, подсказанного одним из его любимых поэтов: «Чтоб словам было тесно, мыслям просторно».

По построению мыслей его литературное письмо отличается двумя ярко бросающимися в глаза свойствами: во-первых, парадоксальностью, отсутствием трафаретности и неожиданностью приемов в постановке вопросов, а во-вторых, задорным юмором, имеющим тенденцию то-и-дело переходить в едкий сарказм. Вот пример, поясняющий сказанное.

Между меньшевиками и большевиками в 1904 году разгорается спор по вопросу о рамках демократизма, в которые можно было бы уложить организационное строительство партии. Меньшевики берут под свое покровительство идею построения партии на демократических началах, а Ленин еще в борьбе с рабочедельцами определенно стал на ту точку зрения, что все эти разговоры о демократизации партии в условиях ее конспиративной, подпольной работы представляют пустую и вредную болтовню. М. С. Ольминский (Галерка) в своей полемической брошюре против «старейших и лучших» из лагеря меньшевиков разоблачает приверженность Мартова, Аксельрода и К⁰ не к принципам демократии, а их антидемократичность, абсолютизм, склонность к олигархии, и попадает не в бровь, а прямо в глаз, так как за показным «демократизмом» меньшевистской верхушки действительно выглядывало довольно-таки свирепое лицо партийного держиморды, наступавшего сапогом на грудь партии.

И таких примеров можно привести сколько угодно.

Но да не подумает читатель, что у М. С. Ольминского, при его склонности к новизне и оригинальности в постановке интересующих его вопросов, неожиданные зигзаги его мысли обусловливаются отсутствием определенного, нерасплывчатого мировоззрения и того монизма во взглядах, который обычно предопре-

деляет полную закономерность в теоретических построениях писателя. Как раз наоборот: именно во всех литературных произведениях т. Ольминского всегда выпукло выступает определенно очерченная личность мыслителя, выковавшего раз навсегда свою общественно-политическую мысль из очень прочного металла, не поддающегося никакой деформации. Свои старые психические навыки народолюбца, который с юных лет возненавидел гнет и эксплоатацию огромного большинства трудящихся кучкою насильников, вспоенных и вскормленных режимом царской полицейщины, навыки человека, который с детства отдал все свои симпатии тем, «чьи работают грубые руки, предоставив почтительно нам погружаться в искусства, науки»,—эти свои психические навыки он сочетал с марксистской теорией, материалистически объясняющей картину исторически сложившихся общественных отношений.

Упомянем еще об одной особенности М. С. Ольминского как литератора—именно о многосторонности общественно-политических мотивов его литературных произведений. Он и мемуарист незаурядный, и тонкий психолог (с каким, например, интересом читается, как много дает его повествование «Три года в одиночной тюрьме»!), он и ученый историк, всегда настаивающий на точных цифрах и фактах, он и памфлетист, забрасывающий своих политических противников градом язвительных насмешек (Галерка), он и литературный критик, иногда любовно ретуширующий образ любимого писателя, который дал ему много эстетических наслаждений и издавна заронил в его душу зерна любви к обездоленным (Некрасов) или который научил его зло смеяться над человеческой пошлостью, над тупоумием российского бюрократа, над молчалинской угодливостью (Щедрин), а в случае встречи его критической мысли с объектом враждебной ему идеологии или чуждых ему настроений,—беспощадным анализом выясняющий со своей марксистской точки зрения классовую природу данного литературного феномена (например, «Три сестры» Чехова и др.). Но при всем этом многообразии вы всегда из-за вдумчивых, правильно построенных, а иногда и весело смеющихся строчек видите одно и то же лицо с ярко выраженными индивидуальными чертами убежденнейшего революционера-марксиста, строгого и к себе и к другим, принципиальнейшего врага всякого рода увиливаний от прямых ответов на проклятые вопросы, подчас грубоватого и недостаточно эластичного полемиста, умеющего и любить и ненавидеть.

М. С. Ольминский как писатель принадлежит, конечно, всей той обширной грамотной аудитории, которая умеет ценить талантливое перо умного и честного публициста или критика. Но прежде всего на него может претендовать наша партия, которой он отдавал свой литературный талант на протяжении

двух с половиной десятков лет. Его появление на литературном поприще в качестве партийного литератора следует отнести к 1904 году, когда на фоне фракционной борьбы между большевиками и меньшевиками в рамках женевского эмигрантского мирка вдруг, совершенно неожиданно для новоискровцев, вырисовалась фигура политического памфлетиста Галерки. Пишущему эти строки уже пришлось однажды характеризовать роль и значение памфлетов Галерки[1]. Не повторяя всего того, что уже было мною сказано раньше на этот счет, отмечу только то обстоятельство, что Галерка был застрельщиком женевской большевистской «шпаны», которую новоискровцы с высоты своего величия третировали как сброд, не имеющий даже права претендовать на их, новоискровское, внимание. Склочный характер затеянной меньшевиками внутрипартийной борьбы вынуждал женевских большевиков к особого рода полемике против торжествующего новоискровства, ибо вслед за серьезным марксистским анализом этой борьбы, сделанным в брошюре Ленина «Шаг вперед—два шага назад», дальнейшие битвы с героями кооптационных дрязг и меньшевистского злопыхательства могли и должны были вылиться у большевиков в форму насмешки, карикатуры, сатиры.

Но Галерка не просто высмеивает своих противников. Он своими шуточными и—на первый взгляд—карикатурными набросками на самом деле в очень популярной форме оповещает широкие круги партии о перипетиях фракционной борьбы, о меньшевистских махинациях, о существе спорных вопросов, а это по тогдашнему времени было немаловажное дело, если принять во внимание растерянность и состояние неразберихи на местах, являвшимися следствием монопольного распоряжения меньшевиками новой «Искрой» и вообще партийной прессой. Вот, например, образчик галеркинской истории раскола партии после II съезда[2]:

«Пришла осень. У почтенного родоначальника русской социал-демократии заныли застарелые ревматизмы,—он ослабел; а ослабевши, призадумался, как бы устроиться поспокойнее, да и переметнулся в неприятельский лагерь. (Намек на паникерское состояние Плеханова после съезда Заграничной лиги и на сдачу меньшевикам «Искры» ценою ухода Ленина из редакции ЦО.—П. Л.) Но и туда посыпались «бомбы», начиненные сплетней и клеветой. (Намек на борьбу новой «Искры», а также меньшевистского большинства в Совете пяти против большевистского ЦК.—П. Л.) Однако ЦК держался крепче Порт-Артура. Аристократия начинала изнемогать, как вдруг получилось секретное известие из неприятельского форта: «Вы неправы, когда палите без разбору

[1] См. книгу П. Лепешинского «На повороте», гл. IX.
[2] Галерка, Долой бонапартизм!

в крепость. Мы хотим объединиться с вами, а бунтовщики мешают, они засели в левой стороне форта. Палите туда, а уж мы улучим минуту открыть ворота». (Намек на предательские сношения примиренца Носкова с редакцией «Искры»; это предательство повело в конце концов к уходу Ленина и из ЦК.—П. Л.) Новый главнокомандующий даже взвизгнул от радости и чуть не выболтал тайны». (Здесь Галерка имеет в виду открытое письмо Плеханова Центральному комитету в № 66 «Искры». В этом письме Плеханов усердно провоцирует своих намечающихся союзников в примиренческом ЦК поскорее изменить Ленину и переметнуться в лагерь меньшевиков.—П. Л.)

В столь же насмешливом стиле Галерка наводит прожектор своей критики на целый ряд вопросов, поднятых меньшевиками в поисках за аргументами против Ленина и ленинизма. По вопросу о демократии Галерка не без остроумия доказывает, что признание меньшевиками принципа демократизма на словах стоит в резком противоречии с их олигархической практикой. Воплям меньшевиков о якобы диктаторских замашках Ленина, о его якобы стремлении захватить в свои руки власть в партии Галерка противопоставляет целый ряд встречных обвинений по адресу новоискровцев в их пренебрежительном отношении к большинству партии, к практикам, работающим на местах, к рядовым членам партии. По вопросу о партийной дисциплине, во имя которой новоискровцы требовали от Ленина и окружающих его большевиков полной капитуляции, Галерка обрушивается на Мартова и Плеханова за их одностороннее понимание этой дисциплины, то есть признание ими обязательности таковой для рядовых партийцев по отношению к центрам, но в то же время свободы от дисциплины центров по отношению к партии в целом и ее съездам. В связи с запретом со стороны большинства Совета опубликовывать постановления Совета Галерка очень остроумно сопоставляет два понятия—тайны в интересах конспирации (за что стоял бы и Ленин) и тайны канцелярской, практикуемой меньшевиками в подражание царскому чиновничеству, перед которым стоял призрак ст. 107 Цензурного устава[1].

Приведенных примеров будет достаточно, чтобы дать понятие читателю о содержании и манере письма в литературных выступлениях Галерки. В свое время эти выступления сыграли свою положительную роль, и сейчас всякий историк ВКП(б), касающийся истории раскола партии после II съезда, не мог бы пройти мимо «галеркинской литературы», как одного из существенных для того времени факторов разоблачения меньшевистского оппортунизма перед лицом партийной массы.

[1] Галерка, «На новый путь»

Когда же большевики отказались от всяких иллюзий насчет сохранения хотя бы формального единства расколотой меньшевиками партии и решили резко отмежеваться от своих соседей справа, для чего обзавелись своим политическим центром (Бюро комитетов большинства) и собственным печатным органом («Вперед»), М. С. Ольминский вошел в редакцию газеты и полностью погрузился в эту очень важную для партии работу. Взявшись за дело в газете «Вперед» (а потом с мая 1905 года в ЦО партии—«Пролетарий»), в высшей степени скромный большевистский сатирик даже и не задумывался над вопросом о своем официальном положении в составе редакции. «Недавно,—замечает он в своем наброске «Как я стал литератором»,—т. Лядов в статье о третьем партийном съезде писал, будто в состав редакции входили Ленин, Воровский, Луначарский и Ольминский. Для меня это была новость. Работая в этих газетах («Вперед» и «Пролетарий».—П. Л.), я ни разу не подумал о том, кто в ней редактор, и кто не редактор. И меньше всего предполагал, что в числе редакторов состоит Ольминский: ведь редактором может быть только литератор, а не какая-нибудь партийная галерка!»

М. С., принимающийся за ответственное дело редакции ЦО большевиков, еще не верит в то, что он имеет право на признание за ним права на звание литератора и даже редактора. А между тем он уж налагает на статьи в газете печать своей ярко-талантливой литературной индивидуальности. Подготовляя, например, к печати письма и корреспонденции, присылаемые из России, он безжалостно вычеркивает все излишнее, все, что в них является балластом. Недаром П. А. Красиков в шутку стал распространять про него «клеветнический слух», будто после его правки «остается только точка в конце статьи—и больше ничего». Насколько близко было сотрудничество между редакторами «Вперед» и «Пролетария», видно хотя бы из того факта, что не раз статья, начатая и доведенная до половины Ольминским или Воровским, дописывалась Лениным и, наоборот, та или иная статья Ленина заканчивалась Ольминским.

Приехав осенью 1905 года в Питер, т. Ольминский окунается с головой в литературную работу. Он сотрудничает в большевистских газетах («Новая жизнь», «Волна» и др.), пишет ряд журнальных статей (главным образом в «Вестнике жизни»), издает интересную работу о «свободе печати» и т. д. и т. д. Редакция в 1907 году в значительной мере обрывает эту кипучую работу.

В годы подъема после столыпинской реакции, в так называемую «эпоху «Звезды» и «Правды», М. С. Ольминский снова становится одной из центральных фигур, взявших на себя задачу воссоздать партийную рабочую прессу в условиях пробуждения

русского пролетариата. Здесь нет надобности давать характеристику этой полосы рабочего движения, и интересующегося данным вопросом читателя достаточно будет отослать к мастерскому очерку этой эпохи в книге М. С. Ольминского «Из эпохи «Звезды» и «Правды» (вып. 1-й) [1]. Мы только отметим здесь факт самого живого участия т. Ольминского в партийной прессе этого периода (главным образом в газете «Правда» с разными вариациями ее заголовка: «Рабочая правда», «Северная правда», «Правда труда», «За правду» и т. д.). Перечисляя сотрудников «Правды», т. Крестинский в своих воспоминаниях с особым уважением ставит имя т. Ольминского: «Следующий,—пишет он, упомянув о таких основателях газеты, как Н. Г. Полетаев, Сталин и Я. М. Свердлов,—т. Ольминский, он же А. Витимский, он же Михаил Степанович Александров... Тогда он в еженедельных статьях отзывался на революционную злобу дня, и его яркие, определенные, в то же время задушевные статьи были любимыми статьями читателя-рабочего» [2]. Другой товарищ, посвящающий свои воспоминания тому же периоду (М. Савельев), свидетельствует, что «к категории постоянных сотрудников, в мое время организационно с журналом связанных, относится М. С. Ольминский, оказывавший большую помощь в редактировании и оценке материала» [3]. Некоторые статьи М. С. Ольминского пользовались одобрением и Владимира Ильича. Так, например, по поводу статьи М. С. «Культурные люди и нечистая совесть» В. И. в одном из своих писем пишет: «Пользуюсь случаем, чтобы поздравить т. Витимского (то есть М. С. Ольминского.—П. Л.) Надеюсь вас не затруднит передать это письмо (вероятно, автор хотел сказать п о з д р а в л е н и е—П. Л.) с замечательно удачной статьей, полученной мною сегодня в «Правде» (№ 98)". Чрезвычайно кстати взята тема и разработана в краткой, но ясной форме превосходно. Хорошо бы вообще от времени до времени вспоминать, цитировать и растолковывать в «Правде» Щедрина и других писателей «старой» народнической демократии. Для читателей «Правды»—для 25 000—это было бы уместно, интересно, да и получилось бы освещение теперешних вопросов рабочей демократии с иной стороны, иным голосом» [4]. Здесь В. И. чрезвычайно метко схватывает то обстоятельство, что апология «старой» народнической демократии (в частности и в особенности произведений Щедрина) из-под пера М. С. Ольминского должна была выходить особенно талантливо, особен-

[1] Этот очерк был выпущен в свет Институтом Ленина вторым изданием, дополненным отдельными статьями М. С. Ольминского 1911—1914 гг. (Гиз, 1929).

[2] «Из эпохи «Звезды» и «Правды», вып. 3, стр. 21.

[3] Там же, стр. 48.

[4] «Из эпохи «Звезды» и «Правды», вып. 3, стр. 193 и 194.

но задушевно и в самый раз для рабочей аудитории. Впоследствии более обстоятельный очерк о Салтыкове-Щедрине Ольминский дал в журнале «Просвещение» (в № 5 за 1914 г.); этот очерк тоже принадлежит к числу удачнейших его произведений.

Империалистическая война прервала бурное развитие революции в России, обещавшее не только повторение картины 1905 года, но и расширение задач первой революции. Война врезалась клином между июльскими баррикадными боями 1914 года и событиями 1917 года. Но революционная мысль большевиков и во время мировой катастрофы не поддалась стихии шовинистического угара, не потеряла своей инерции движения в сторону конечных целей пролетарской борьбы, не утратила своей традиционной непримиримости по отношению к классовым врагам пролетариата, которые в обстановке войны стали еще отвратительнее, еще гаже и подлее, чем прежде. М. С. Ольминский—слишком хороший большевик, чтобы представить исключение в этом отношении. Рабочая революционная печать (в лице «Правды») под давлением обстоятельств сошла со сцены, но неугомонная большевистская мысль все время искала случаев так или иначе прорваться наружу сквозь толщу полицейских препятствий. В Саратове в 1915 году съехалось несколько большевиков (М. С. Ольминский, В. Н. Ногин, В. П. Милютин и др.). Сейчас же в этом новом гнезде большевизма затевается устная пропаганда (главным образом в просветительном обществе «Маяк») и печатная—через газетку «Наша газета» и через выпущенный саратовцами сборник «Под старым знаменем». Одним из главнейших застрельщиков в этом деле был М. С. Ольминский [1].

Легко себе представить, как трудно было проходить верблюду большевистской печатной пропаганды через игольное ушко свирепствовавшей во время войны цензуры. Пишет, например, Ольминский газетную статью «Об ответственности», примерно в сотню строк. Но от «зарезанной» (по выражению самого автора) статьи остаются только три строчки... Ясное дело, что при таких условиях откровенно не разговоришься. И все же, как ни душила цензура большевистскую печать, Ольминскому удается сказать достаточно много, чтобы устранить всякие недоразумения относительно характера его политических взглядов на события 1914—1916 гг. Правда, ему приходится в своих литературных выступлениях по большей части пускать в ход манеру бесстрастного летописца, своего рода Нестора, который отображает в зеркале своей летописи текущую действительность, воздерживаясь

[1] Впоследствии, в 1916 году, после раскассирования саратовской группы большевиков, в Москве кристаллизуется новая литературная группа при ближайшем участии М. С. Ольминского, вступающая в сношение с бюро ЦК. Группа редактирует журнальчик «Голос печатного труда» и издает сборник «Прилив».

от слишком откровенной критики окружающего мракобесия. Но подбор фактов, документов, цитат из звериной буржуазной или социал-предательской прессы делается так умело, что получается действительно букет с очень определенными запахами. Недаром Владимир Ильич, прочитывая в сборнике «Под старым знаменем» статью М. С. Ольминского «Первые итоги», то-и-дело выражает свое чувство удовлетворения по поводу удачных мыслей и экскурсов автора статьи в область фактов и документов, выражающих общественное мнение всякого рода «патриотов», не исключая и социал-шовинистов. На полях пестрят его пометки: «Хорошо сказано», «Верно», «Очень хорошо» и т. д.

Интересно отметить, что едва сдерживаемые молнии гнева т. Ольминского в первую очередь обрушиваются на голову представителей либеральной буржуазии и социал-предательской прессы, ибо реакционность правых, откровенных черносотенцев, более очевидна, чем вся эта контрреволюционность либеральной сволочи. М. С. Ольминский не без злорадства, например, торопится отметить тот факт, что правый депутат Думы Левашев счел нужным сказать: «У нас нет никакого основания требовать, чтобы весь немецкий народ был истреблен и сметен с лица земли». При этом Левашев,—ехидно замечает автор статьи,—разошелся во мнениях с некоторой частью нашей либеральной печати и с «Речью», которая протестовала против мысли, что «в конце концов придется сожительствовать, худо ли, хорошо ли, и с немцами». В другом месте М. С. Ольминский дает такой волчий паспорт либеральной буржуазии и поддерживающей ее интеллигенции: «Либеральная буржуазия и воинствующая русская интеллигенция в полной мере наряду с царским черносотенным правительством должны нести моральную ответственность за бесконечное затягивание войны, за все жертвы этой бойни, за все то горе и разорение, которое принесла эта война русскому народу»[1].

Хлестко и ожесточенно подвергает он бичам и скорпионам и предательскую роль социал-шовинистов (Плеханова, Алексинского, Бунакова, Дейча и К°). Достаточно, например, пробежать глазами его статью «Самозванные прокуроры», чтобы не оставалось никаких сомнений насчет «нежных чувств», которые питает старый неугомонный Галерка по отношению к бывшим попутчикам революционной социал-демократии, опустившимся в период войны на самое дно безудержного ура-патриотизма. Даже не в пример царским министрам (Шаховскому и Щербакову), выразившим, между прочим, мысль об излишних арестах рабочих, Плеханов и его друзья склонны кричать об «измене по отношению к народу» социал-демократической фракции, голосовавшей против кредитов на войну. По мнению этих патриотов, всякое «вспышкопускательство» «по свое-

[1] В статье «Планы русских либералов».

му значению равнялось бы измене». Такого рода позиция Плеханова и его последователей дает повод Ольминскому провести знак равенства между представителями охранного отделения и стоящими на страже интересов преступной империалистической буржуазии социал-предателями.

На все злобы дня, связанные с войною, М. С. Ольминский чрезвычайно живо и вполне по-большевистски тотчас же откликается. По вопросу ли о дороговизне как необходимом следствии войны, затеянной жадными по части аннексий империалистами, по вопросу ли о промышленных комитетах как об орудии в руках буржуазии по части выгодного ей распределения казенных заказов на военные надобности, по вопросу ли о принудительном труде с его тенденцией воскресить формы крепостного рабства и т. д.— во всех этих случаях М. С. Ольминский просто и ясно дает такую трактовку этих вопросов, которая является достаточной, чтобы его читатели, то есть широкие слои рабочих, не стали жертвой буржуазного обмана [1].

Февральская революция снова окрыляет силы нашего большевистского публициста и ставит его на страже идейных интересов ленинской партии. Снова в Питере воскресает большевистская «Правда», создается в Москве газета «Социал-демократ». М. С. Ольминский, конечно, первый завсегдатай в этих газетах, и его неутомимое перо оставляет свой след почти в каждом очередном номере этих газет (за 1917 год им помещено свыше 130 газетных статей и заметок, составивших впоследствии содержание довольно объемистого сборника) [2]. Даже при беглом просмотре этих статей они дают представление об эволюции революционной тактики большевиков от Февраля до Октября 1917 года в связи с нарастанием революционной ситуации в стране.

События быстро зреют. Когда система двоевластия надоела правительству Милюковых и она все настойчивее и настойчивее требует «слияния» двух правительств, то есть, иначе говоря, поглощения Временным правительством советов, М. С. противопоставляет этому лозунгу другой лозунг: переход всей полноты власти в руки Совета рабочих и солдатских депутатов или органа, созданного Всероссийским съездом советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Когда представители мелкой буржуазии (социал-демократы, плехановцы, меньшевики, эсеры и др.) начинают обнаруживать большую склонность к получению в буржуазном правительстве министерских портфелей, Ольминский торопится предупредить, что «вступление в министерство представителей от рабочих и солдат является грубой ошибкой» (от 20/V,

[1] Статьи эти изданы Свердловским университетом под названием «1915—1916 гг.» (Москва, 1926).

[2] М. Ольминский, 1917 г., изд. комуниверситета им. Свердлова, Москва, 1926.

стр. 86). В деревне все более и более зреют революционные настроения. Ольминский не упускает случая подсказать крестьянским массам: «1) не доверять министрам буржуазного или коалиционного правительства; 2) не ждать ни в чем до Учредительного собрания, а делать все самим (через свои организации)» (от 27/V, стр. 94). А это как раз и означало по адресу крестьян—лозунг «дерзай!».

«Эсеры и меньшевики,—разоблачает М. С. этих прихвостней буржуазии,—вся эта мелкобуржуазная, консервативная масса,—сейчас идут с буржуазией против пролетариата,—с контрреволюцией против революции». Отсюда—лозунг: «разорвать этот вредный, реакционный союз» (между мелкой и крупной буржуазией). Тактика партии «должна ставить своей целью откалывание от мелкой буржуазии тех рабочих, которые еще плетутся за меньшевиками и эсерами» (от 11/VI, стр. 112).

Когда же наглеющая реакция, используя безудержную клевету, направленную против Ленина и большевиков, в конце концов вынудила партию уйти в подполье, М. С. в статье «Завещание», ввиду нависшей над «Социал-демократом» угрозы быть похороненным (к счастью, этого не случилось, и «Социал-демократ» благополучно дожил до Октябрьских дней), призывает рабочих к бодрости и продолжению дела своей борьбы. «Нашей партии,—предупреждал М. С.,—в лице московского и петербургского пролетариата, предстоит пережить такое же положение, как в начале войны, когда была задушена рабочая печать». Но «не убило нас самодержавие Романова, не убьет и самодержавие Керенских и Данов» (от 19/VII, стр. 159). Он продолжает также беспощадно разоблачать полицейский режим, устанавливаемый Керенским, Даном и К°.

В статье «Получат ли землю крестьяне?» (стр. 162) он предостерегает крестьянские массы от доверия Временному правительству и с горькой иронией восклицает: «Сейчас вы получите и землю—три аршина, и волю—на небесах». В то же время он отмечает непрочность этого правительства и раскрывает происходящую размежовку классовых сил и измену меньшевиков и эсеров.

Что же касается эволюции Временного правительства, то оно, «созданное революцией, оказалось правительством контрреволюции. Немудрено, что рабочие, солдаты и крестьяне перестают ему верить, не поддерживают его» (стр. 195). Наконец, в статье «Буржуазия готовится к наступлению» (от 11/24 октября) Ольминский выбрасывает решительный лозунг: «Буржуазия готовится дать бой рабочему классу. Товарищи рабочие! Близится час—это будет последний и решительный бой» (стр. 203).

Из этого беглого обзора видно, в каких твердых и надежных руках была в 1917 году большевистская печать, виднейшим работником которой был М. С. Ольминский.

С тех пор прошло много лет. Ветеран непримиримого больше-

визма, скованный тяжелым недугом, может очень мало и редко, к сожалению, поднимать в печати свой истинно по-ленински звучащий голос. И еще время от времени на страницах прессы (главным образом в «Пролетарской революции» и «Комсомольской правде») раздается суровый, предостерегающий от ошибок авторитетный голос одного из испытаннейших большевиков. Будем надеяться, что этот голос еще долго не умолкнет на благо революции и на радость нашего пролетариата.

П. Лепешинский

I. ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

КАК Я СТАЛ ЛИТЕРАТОРОМ

Еще юношей, наблюдая что-нибудь новое и интересное или переживая что-нибудь сильно, думал затем на тему: как я описал бы это, в каких выражениях, «если бы был литератором». Но так как литератором может быть только человек, обладающий литературным талантом, а у меня его нет, то никогда ничего не записывал. Почему непременно талант, и как узнать, есть ли он? Об этом не задумывался.

Будучи в гимназии, два раза посылал какую-то чепуху в газету. Конечно, не напечатали. Значит, дальше нечего и пытаться. Если бы был талант, то напечатали бы. И уже не брал пера в руки.

Так дожил до 30-летнего возраста, что-то писал по службе, написанное печаталось; но разве статистика—литература? Так, чепуха какая-то, бумагомарание: для нее не требуется «таланта», а только работа по службе. И когда нужно было написать листок или статью для подпольной типографии, то и в голову не приходило сесть и написать. А уговаривал, просил других.

Арест. Через 21 месяц—приговор: три года тюрьмы и пять лет ссылки,—конечно, не на теплые воды. Пришлось задуматься над вопросом: чем же заполнить эти восемь лет изъятия из жизни? Эх, если бы я был литератором, имел бы талант! Ну, а если без таланта попробовать? Назло правительству и жандармам? После приговора прокурор сказал обо мне злорадно: «Теперь он уже не поднимется!» Что, если я надую и прокурора и публику и научусь писать, не имея таланта, так, как будто бы имел его?

С чего же начать? Попробую с самого простого: голуби за окном просят хлеба; попробую описать их наружность, характер и поведение не в мыслях только,—как это делал раньше,—а на бумаге. Описал. Вышло длинно, сухо; протокол, да еще плохой. А что сказал прокурор? «Не поднимется». Будьте же вы прокляты: поднимусь!..

Любимыми писателями, с которыми не расставался все время в камере, были Пушкин, Лермонтов и Щедрин. Без конца перечитывались от обложки до обложки. Многое заучил наизусть, в том числе и «Демона». В прежнее время читал его только в законченном виде. Теперь перечитывал и первоначальные три текста. Обратил внимание, что между первым и последним текстом

прошло десять лет. При каждой переделке поэма становилась звучней, ярче.

Из первого текста дожили до четвертого без изменения только четыре или пять строчек. Однако! Хватило же у Лермонтова терпения десять лет работать над одним, не очень крупным произведением! Впрочем, и раньше знал, что старинные поэты по многу лет сидели над одной работой, раньше чем пустить ее среди читателей.

Все-таки странно: ведь Лермонтов—признанный талант; зачем же он корпел столько над своим «Демоном»?

Другой раз обратил внимание на снимок с рукописи (факсимиле) Пушкина. Всего две строчки,—по поводу перевода Гомера:

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи.
Старца великого тень чую смущенной душой.

Слово «умолкнувший» сначала не было написано: оставлен небольшой пробел. Потом оно вставлено, но не уместилось на оставленном кусочке и надписано сверху. В каком году написаны эти две строчки? Пушкин в это время был уже наверху славы. Чорт возьми! не написать двух строчек сразу, без поправок!

И Пушкин, и Лермонтов! Должно быть, со стихами иначе и нельзя.

Между тем продолжал время от времени писать, что попало: о тюремной жизни, о своих настроениях и думах. Начнешь перечитывать,—написано длинно, водянисто, скучно. И с течением времени не становится живее. Случилось, что нечего было писать, а времени девать некуда. Не попробовать ли свести в один рассказ свои отрывочные записи о воробьях и голубях? Начал переписывать, и стала одолевать лень. Нельзя ли эту фразу сказать покороче? А вот эту совсем выбросить? А вот это длинное слово заменить другим,—попроще, покороче?

Кончил. Против прежнего вышло втрое меньше. Жаль раньше написанного. А впрочем, чорт с ним: все равно эта работа впустую, от тюремного безделья.

Прошло порядочно времени. Попал на глаза переписанный рассказ о голубях и воробьях. Я ли это писал? Рассказ вышел живей, интересней, чем было написано раньше.

Как раз в это время обратил внимание на факсимиле Щедрина «Забытые слова». Раньше видел и читал их. А тут бросилось в глаза, как вся страница исчеркана поправками. А ведь это не стихи! И написано знаменитейшим писателем после сорока лет литературной работы! Меня это поразило. По тюремной привычке, забегал из угла в угол и заговорил, громко обращаясь сам к себе, не стесняясь резкостью выражений:

— Ах ты, дурак! Остолоп! Как же ты смел думать, что твои писания могут быть к чему-нибудь годны, когда ты даже

не исправлял их? Посмотри на рукопись Щедрина, дубина ты неотесанная! Вспомни, как работает Лев Толстой! А ведь это таланты, гении! Ты же хочешь без всякого таланта пролезть в литераторы и не хочешь обрабатывать того, что написал. Подлинно, дурак набитый!

После тюрьмы, по пути в ссылку случилось провести несколько дней в Иркутске. В числе других старых ссыльных познакомился с редактором ежедневной газеты «Восточное обозрение» Иваном Ивановичем Поповым. И зародилась мысль, как бы надуть его,—прикинуться писателем, не имея на то никакого права. По прибытии в Якутскую область придумал. Написал письмо ему: «Дорогой Иван Иванович! Доехали мы вполне благополучно. Меня назначили в Олекминск. Городишко маленький, но местность недурна» и т. д.—еще несколько строк таких же ненужностей; а затем перехожу незаметно к какому-то (уже не помню о чем) описанию местной жизни.

Задняя же мысль была такая: Иван Иванович, зачеркнувши ненужности, остальную часть письма найдет, может быть, достойной напечатания. Не знаю, проник или не проник он в каверзный подвох хитреца, но только письмо (конечно, без начала) действительно появилось в газете. Этот успех окрылил, и я стал «надувать» Ивана Ивановича довольно часто, уже без всяких околичностей, посылая сначала корреспонденции, а потом фельетоны. Родился на свет «Степаныч», «Дятлов», «Ольминский».

Конечно, от товарищей по ссылке ничего не скроешь. А ребята они были молодые и насмешники первосортные. Не оставляли меня своим вниманием. Бор. Ив.. Гольдман (теперь И. Горев). даже в стихах пробирал:

Вот олекминский политик...
Публицист, поэт и критик,
В «Водосточном» [1] он строчит...

За пять лет ссылки мне не удалось вылезть из «Водосточного», если не считать одной статейки в «Северном курьере» да одного фельетона в «Нижегородском листке». Вернувшись в Россию, на месяц уединился, переписал набело две заготовленных в ссылке статьи, написал одну новую и послал их в московский ежемесячный журнал «Правда». В ответ получил от А. А. Богданова извещение, что все три статьи приняты, и приглашение приехать в Тверь познакомиться.

После Твери поехал за границу «разбираться в разногласиях» между большевиками и меньшевиками. Это многие тогда делали,

[1] Эти завистники даже «Восточное обозрение» называли «Водосточным обозрением», чтобы сильнее уязвить меня, — что не мешало, конечно, наилучшим дружеским отношениям.

так как даже российские партийные работники ничего не могли понять. А мне после десятилетнего изъятия и бог велел. Ехал в убеждении, что и те—люди хорошие, и эти—не хуже.

Перечитавши полемику между фракциями, стал на сторону большевиков, не отказываясь от убеждения, что и меньшевики не плохи. Но дальше от чтения злобных статей новой, уже меньшевистской, «Искры» стало на душе мутить; а после того как Мартов обругал всех нас, маленьких партийных людей, словом «галерка», явился на свет и Галерка со своими злыми статейками. Но «галерочная литература»—разве это литература? И Галерка—разве литератор?

Потом явилась за границей в начале 1905 года большевистская газета «Вперед», и за ней «Пролетарий», в которые мне пришлось погрузиться с головой. Недавно т. Лядов в статье о третьем партийном съезде писал, будто в состав редакции входили Ленин, Воровский, Луначарский и Ольминский. Для меня это была новость. Работая в этих газетах, я ни разу не подумал о том, кто в ней редактор, и кто не редактор. И меньше всего предполагал, что в числе редакторов состоит Ольминский: ведь редактором может быть только литератор, а не какая-нибудь партийная галерка!

Между прочим, в этих газетах на мне лежала обязанность подготовлять к печати письма и корреспонденции, присылаемые из России. Их было не мало; в газете было тесно. Да и в работе над собственными статьями я привык вычеркивать все слова и фразы, которые можно вычеркнуть без вреда для мысли автора. И тут меня не оставили в покое. П. А. Красиков стал распространять клеветнический слух, будто после моей правки остается только точка в конце статьи—и больше ничего.

Чтобы опровергнуть клевету, приведу пример, уцелевший в памяти. Описывалась демонстрация, кажется в Твери. В конце сказано: «Явившаяся на место происшествия местная полиция арестовала восемь человек демонстрантов». Подобные фразы были обычным явлением. Нужно ли было их печатать целиком? Например, «местная»,—разве в Твери могла явиться полиция не местная, а казанская? Затем, «явившаяся на место происшествия»,—разве могла она арестовывать, не явившись? А «полиция», кто же арестует, кроме полиции? Наконец, «человек демонстрантов», конечно, не коров и не прохожих. Остается для печати—«Арестовано восемь»; только и нужно, а все остальное—вода. Все-таки остается не только точка, но и два слова, которыми все сказано.

А почитайте наши теперешние газеты,—сколько в них воды! Если «декабрь», то прибавят месяц,—как будто декабрь может быть не месяцем, а вороной. Или «целый ряд ораторов»,—как будто бывает половина ряда. Или «окружающая обстановка»,—как

будто бывает обстановка не окружающая. Редакции жалуются, что тесно. По-моему, могли бы сказать втрое больше, если бы не наводняли ненужными словами. И эту массу ненужного наборщики должны набирать, а сотни тысяч читателей должны тратить время на чтение пустопорожних слов и фраз.

Конечно, редакторам ежедневной газеты не справиться с этими потоками словесной воды. Это должны делать сами авторы. Они перед своей совестью и перед читателями обязаны переписывать сами каждую статью набело. Когда я вижу автора, особенно из молодых, неопытных в писании, сдающего рукопись без переписки своею рукою и без поправок, мне всегда неловко за него. Вроде того, как было неловко однажды за человека, который явился на большое собрание, забывши застегнуть пуговицы на видном месте. Мне всегда хочется сказать такому автору: «Застегните пуговицы, товарищ!»

Возвращаюсь к далекому прошлому.

В «дни свободы», в ноябре 1905 года, я вернулся в Петербург. Пришлось сдавать паспорт в прописку.

— Ваше занятие?—спрашивает дворник.

Что ответить? Сказать, что революционер? Такой профессии в полицейском участке не признавалось,—или вернее, таких профессионалов прописывали на жительство по тюрьмам. А иного занятия не было. Набрался смелости и в первый раз в жизни самозванно объявил себя литератором. Так и в паспорте несколько лет значилось,—только не «литератор», а «летиратор». Первое время очень стыдился самозванства. Понемногу, однако, привык.

II. В ГОДЫ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭСТЕТИКИ[1]

Кого не интересует вопрос о современных настроениях? Провинция ждет ответа из Петербурга. Попытаюсь резюмировать свои впечатления. Скажу сразу: я принадлежу к числу тех людей, которые признают «сдвиг», «перелом» в настроениях совершившимся фактом. Зима 1910/11 года напоминает мне зиму подобного же перелома 1891/92 года под влиянием всероссийского голода.

Но было бы ошибочно отождествлять перелом с «подъемом»: ведь с зимы 1891/92 года понадобилось полтора десятилетия, чтобы «подъем» достиг высшей точки. Сейчас сдвиг скорее чувствуется, чем подлежит доказательству. Трудно привести факты. Что видишь кругом, скорее говорит по внешности за то, будто все по-старому.

Минувший февраль в Петербурге характеризуется безумием зрелищ. Безумны не зрелища, а отношение публики. По полицейским сведениям, число посетителей зрелищ в Петербурге доходило на масленой до 145 тысяч в день. Это много даже для города с 2-миллионным населением: ведь в этих 2 миллионах и младенцы, и больные, и подневольный люд, и беднота, которой не до зрелищ.

А на могиле В. Ф. Коммисаржевской в годовщину смерти горсточка людей, ничтожная до неприличья... Перед нами—не уважение к искусству, а безумие зрелищ. (. . .)

На первой неделе поста среди интеллигенции только и разговора, что о билетах на спектакль Московского художественного театра. В среду—запись на билеты, до воскресенья—явка записавшихся 2 раза в день (по другим известиям—3 раза) для проверки твердости желания записавшихся. Сколько нужно праздного времени, сколько расходов на поездки!

И притом дежурство целую ночь на морозе, в очереди. Образовалась банда, нарушившая порядок. Полиция оттеснила сбившуюся публику от Александринского театра к Публичной библиотеке. Как восстановить очередь? Пристав решает: кто добежит. Команда и тысяча интеллигентов, подобрав подолы

[1] Статья была напечатана в 1911 году в газете «Сибирские огни» (№ 1 от 4 апреля); подписано—М. Александров.

и фалды, толкаясь и давя друг друга, несется от библиотеки к театру. Сцена, напоминающая старое доброе время, когда помещик бросал пряники в толпу крепостным и любовался давкой.

Глубоко символическая картина—бегство интеллигенции от библиотеки к театру,—от науки к эстетике: она—резюме последних лет.

Взгляните на нынешних театралов: о содержании пьесы, об игре актеров—мало речи. Но сколько умиления в голосе, когда говорят: «И я был!» или: «И я достал!» Голос богомольной старушки, побывавшей у угодника: «И я сподобилась!» Нет, это не интерес к искусству. Это безумие зрелищ, бегство от жизни, от знания.

Вот архиважное общество архиученых людей—Петербургское собрание экономистов. Читаю денежный отчет за январь. Израсходовано:

На карты	. . . . .	129	руб.
» библиотеку	. . . . .	19	»
» вино	. . . . .	107	»
» научные цели	. . . . .	1	» 65 коп.

С подлинным верно! Отчет экономистов не менее значителен, чем отчет «Ведомостей градоначальства» о посетителях театров и других зрелищ.

Вспомним, как возродилась у нас эстетика в мрачные годы реакции. Люди бежали от жизни,—кто с романом в руках, кто с билетом в театр, кто с пулей в висок. Бежали от жизни, бежали от знания, погружались в фантастику, азарт или небытие. Искали спасительных настроений в раздражении спинного мозга, создавали торжество порнографии. По внешности, по разгулу безумия зрелищ перед нами еще будто картина 1908 года. И все же чувствуется: это уже не то.

Фантастика, погоня за настроениями внутренно выветрились. О них уже скучно говорить. Остается умиляться: «И я сподобилась!» В то же время чувствуется, что людям не сидится дома. Хоть что-нибудь, хоть куда-нибудь, лишь бы в толпу! По инерции, по привычке, по линии наименьшего сопротивления ломятся в театр.

Да и мозги, питаемые суммой в 1 р. 65 к. «на научные цели», не так-то легко выходят из неподвижности. Бежать взапуски, по команде пристава, от библиотеки к театру легче, чем с пользой сидеть в библиотеке.

Вспоминается мне другое время, эпоха возрождения, 60-е годы, когда пронеслось крылатое слово «Сапоги выше Шекспира», когда эстет граф Ал. Толстой громил передовую молодежь топорными стихами в реакционном «Русском вестнике» М. Н. Каткова:

Они ж матерьялисты:
От имени прогресса
Кричат, что трубочисты
Суть выше Апеллеса.

Обеспеченные в услугах сапожника и трубочиста, эстеты ужасно не любят, когда им напоминают о людях без сапог и без квартиры...

Сейчас не найдется дурня, который не пожимал бы презрительно плечами по поводу односторонности идейных вождей 60-х годов,—писателей, занимавшихся разрушением эстетики. Дурень останется дурнем, а разрушители эстетики 60-х годов заняли почетное место в истории русской литературы.

Возродившаяся эстетика наших дней оказалась как раз по плечу эпохе упадка, безнадежности, пассивности,—эстетика без содержания или с отрицательным содержанием (редкие исключения—не в счет). Преодоление такой эстетики—необходимое условие общественного возрождения,—необходимее, чем разрушение эстетики в 60-х годах. Она уже выдыхается, уже не дает настроений, о которых бы люди говорили с жаром,—это верный признак ее приближения к смерти.

Мысль, знание вступают в свои права (...) официально на сумму 1 р. 65 к., а под спудом... туда я не поведу сегодня читателя. Но мне хочется дать руководящее указание читателю, заброшенному далеко от столиц.

Вы хотите знать силу перелома в настроении? Ищите ответы прежде всего в самом себе: зашевелилась в вас мысль—это факт сдвига; спит мысль, а вы ищете попрежнему забвения—это продолжающееся торжество реакции. После осмотра самих себя примените ту же мерку к приятелям, к газетам, журналам. И вы сумеете тогда более или менее точно определить силу сдвига.

В заключение два слова к нынешним поклонникам эстетики. Вы негодуете, что я зову к ее преодолению. Вы не знаете, горемычные, что творческая работа в области искусства неразрывно связана с подъемом во всех других общественных сферах. Истинное творчество активно: оно—жизнь, а не бегство от жизни.

ПОХОД ПРОТИВ М. ГОРЬКОГО[1]

Вся буржуазная печать, и либеральная и реакционная, ополчилась против М. Горького. В чем дело? Какое преступление совершил пролетарский писатель?

Жил в России писатель Ф. М. Достоевский. В молодости он был склонен к демократизму и даже отбыл каторгу по политическому делу. Затем круто повернул; стал постоянным сотрудником

[1] Напечатано в газете «За правду», № 3 от 4 октября 1913 г.

М. Н. Каткова, отца нынешних черносотенцев. Как у всякого почти писателя, повернувшего слева направо, есть у Достоевского произведение, где он с особенной яростью, с злобою ренегата, клевещет на деятелей освободительного движения и оплевывает их. Это произведение—роман «Бесы».

Есть в Москве Художественный театр. До 1905 года, вместе с интеллигенцией, и этот театр выражал прогрессивные настроения. Теперь, когда интеллигенция почти поголовно предательствует и ренегатствует, Художественный театр не может не потворствовать ренегатским настроениям, и он решил поставить «Бесов» в переделке для сцены.

М. Горький с 1906 года вынужден жить за границей. Он мало знает теперешнюю Россию; ему трудно представить себе, до какой степени за эти годы переродилось «интеллигентное» общество. И он выступил с протестом против постановки этой пьесы в Художественном театре. Он думал, что его поймут. Он посмел выступить против Достоевского.

И все буржуазно-интеллигентское общество взвыло: заголосила «Речь», всхлипнули «Русские ведомости»; конечно и «Новое время»[2] не упустило случая. Либералы объединились с нововременцами. Все против М. Горького! Но я не буду говорить ни о либералах, ни о нововременцах. Я остановлюсь только на демократической газете «День».

В «Дне» от 1 октября помещена анонимная статья «М. Горький и Художественный театр». Автор приводит свои беседы с бывшим почти-народником Горнфельдом, почти-марксистом Батюшковым и с никогда ничем не бывшим Ф. Сологубом.

Послушаем этих бывших людей, устами которых редакция «Дня» посрамляет М. Горького. Горнфельд говорит между прочим:

> «Достоевский велик, несмотря на свою реакционность, несмотря на неблагородство «Бесов» с их злобной карикатурой на Тургенева, несмотря на его антисемитизм, несмотря на болезненные эксцессы его художественного темперамента. А великое в искусстве несет в себе самоисцеляющую силу. Все минется—особенно политические и полемические наросты на могучем теле художественного творения; одна правда останется. Этой правды—не только правды познания, но и правды моральной—так много в «Бесах», как и во всем Достоевском, что отрицание ее может быть лишь свидетельством о печальной слепоте».

Действительно, «великое в искусстве несет в себе самоисцеляющую силу». Но когда? Безусловно, только тогда, когда «все ми-

[2] Газета, всегда держащая нос по ветру, чтобы угодить самодержавному правительству и крупной буржуазии.

нется». Да еще, добавим от себя, когда в основе произведения искусства, в конце концов, лежит человечность, а не человеконенавистничество.

Не станем спорить о том, чего больше в «Бесах»—человечности или человеконенавистничества. Спросим себя только: все ли «минуло» из того, за что превозносили Достоевского тогдашние черносотенцы? Возьмем опять-таки лишь то, на что указывает сам Горнфельд.

Достоевский реакционен,—признает Горнфельд. Что же, минула ли уже, отошла ли в прошлое та реакция, которая царила при Достоевском? Горнфельд, очевидно, думает, что отошла в прошлое. Это—центральный пункт, основная причина ренегатства Горнфельдов и остальной интеллигенции.

Несомненно, реакция теперь в меньшей, чем тогда, мере душит буржуазное общество. А каково положение пролетариата, крестьянства? До них нет дела интеллигенции. Интеллигенция готова удовлетвориться подачками и объединиться (если ее поманят пальцем) с реакцией против пролетариата: в этом основная причина как прощения Достоевскому его реакционности, так и озлобления против М. Горького.

Горнфельд выражается мягко, признавая «неблагородство» «Бесов», вместо того чтобы употребить более прямое слово. И он прощает Достоевскому «неблагородство». Еще бы!

Разве есть хоть капля благородства в нынешнем ренегатстве интеллигенции? И «неблагородство», как видите, совсем еще не «минуло». Горнфельд прощает Достоевскому и его антисемитизм; не потому ли, что и антисемитизм отошел в прошлое?

До какой, действительно, степени падения и «неблагородства» нужно было опуститься Горнфельду и прочим защитникам Достоевского, чтобы дойти до превознесения антисемита в дни Бейлиса![1] И полюбуйтесь, читатель-рабочий, на редакцию газеты «День»: на одной странице она распинается против кровавого навета на евреев, а на другой, в том же номере, в разгар дней Бейлиса, выступает на защиту антисемита!

Когда против М. Горького, на защиту юдофоба Достоевского, ополчается «Новое время»,—дело понятное, дело ясное, говорить не о чем. Но когда то же делают «бывшие люди» из «Дня», это заставляет задуматься.

Почему они стоят за Достоевского? Потому,—говорят они,—что Достоевский—талант. Вот уже несколько лет нам твердят, что выше всего на свете—талант. Является вопрос: а что, если бы на процессе Бейлиса Шмаков и Замысловский вели себя талантливо,

[1] Еврея Бейлиса судили за убийство христианского ребенка с целью употребить его кровь для религиозных целей. Это обвинение имело целью открыть новое гонение против евреев. Интрига сорвалась — Бейлис был оправдан.

а защита Бейлиса была бесталанна? Очевидно, поклонники таланта стали бы на сторону Шмаковых!

— Это клевета!—воскликнет здесь наш читатель-интеллигент.

— Побольше спокойствия: не подражайте прокурору Випперу!— отвечу я. Ведь если вы на все лады твердите, что превыше всего талант, то я в праве думать, что вы будете последовательны, верны самим себе и, в случае бесталанности защитников Бейлиса, должны будете стать на сторону Шмакова и Замысловского. И я убежден, что будь обвинение Бейлиса представлено «талантливо», огромное количество теперешней интеллигенции действительно стало бы на сторону обвинителей.

Из всего, что наговорил Горнфельд, можно согласиться с его словами:

«Противники Горького уже перегнули палку в противоположную сторону: появились уже гаденькие слова о какой-то творимой им цензуре,—тогда как его мнение есть только свободное мнение писателя, никого не насилующее и доступное спору».

Вслед за изложением мнения Горнфельда в той же статье «Дня» идет заявление Ф. Сологуба, будто М. Горький в своем протесте «принимает позу городового», то есть «творит цензуру», как выразился Горнфельд.

Горнфельд—писатель деликатный. Его нельзя упрекнуть в грубости, как упрекают нашего брата—сотрудника рабочей газеты. Позвольте же и нам употреблять слово «гаденький» вслед за Горнфельдом. Сологуб употребил гаденькое выражение о цензуре, о позе городового. Но гаденькие слова являются лишь выражением гаденьких мыслей гаденькой души. И зная писания Сологуба, нельзя придумать более удачного определения, чем сказать, что Сологуб—гаденький писатель.

В своем отношении к освободительному движению он—гаденький писатель. В своем отношении к женщине он—гаденький писатель. В каждом своем романе, в каждом выпуске рассказов, в каждом сборнике стихов Сологуб—гаденький писатель.

Нет охоты, да и не стоит мараться в гаденьких рассуждениях этого гаденького писателя, выступившего против М. Горького. Отмечу лишь одно восклицание Сологуба:

«Разве можно допустить,—восклицает он,—что идеология рабочих относится отрицательно к произведениям искусства?»

В самом этом вопросе уже заключается гаденькая клевета, достойная гаденького писателя: ведь речь-то шла вовсе не о произведениях искусства вообще, а об определенном авторе!

В статье «Дня» есть еще заявление Ф. Д. Батюшкова. «Юпитер сердится»,—только и можно сказать о Батюшкове.

Как видит читатель, на вопросе о Достоевском столкнулись два мира. Пролетарский мир, в лице М. Горького, выступил против соглашения с реакцией, против антисемитизма, против неблагород-

ства человеческой души. И против него—другой мир, готовый обниматься и с реакцией и с антисемитизмом, готовый продать свое «благородство души» первому, кто пожелает выступить покупателем.

На этом примере рабочие должны учиться понимать те далеко не благородные вожделения, которые обычно кроются под пышными фразами о святости искусства и о чистом искусстве.

СТАТЬИ О Ф. СОЛОГУБЕ

Искусство и Ф. Сологуб [1]

Поход против М. Горького, начатый буржуазной печатью, вновь ставит вопрос об искусстве, о ценности произведений искусства самих по себе, независимо от их содержания, то есть вопрос о чистом искусстве. Это—большой вопрос. Всего не скажешь в одной газетной статье. И я хочу лишь на одном-двух примерах показать разницу между чистым, и, если хотите, нечистым искусством.

Некрасова еще никто никогда не оскорблял обвинением в служении чистому искусству. Посмотрим же, как относился Некрасов, например, к женщине, выброшенной на улицу.

Нет! Тебе состраданья не встретить,
Нищеты и несчастия дочь!

«Свет тебя предает поруганью»,—в негодованьи на этот свет восклицает поэт и спрашивает:

Кто ж защитит тебя? Все без изъятья
Именем страшным тебя назовут,
Только во мне шевельнутся проклятья...

И вы знаете, что поэт от всей души называет эту женщину:

Друг беззащитный, больной и бездомный.

Некрасов—не поэт чистого искусства, а поэт мести и печали, живой крови и той любви, что клеймит злодея и глупца.

Теперь возьмем для сравнения поэта чистого искусства, например Федора Сологуба. Его уже увенчали лавровым венком; ему современники «при жизни памятник готовят». Как же относится Сологуб к «другу беззащитному»? Вот целиком его стихотворение:

Три девы

На улице столичной
Стоял кирпичный дом,
И жил весьма приличный
Народ, конечно, в нем.
В мансардочке унылой
Три девы жили там.
Им очень близко было
К веселым небесам.

Блондиночка курсистка,
Шатеночка модистка,
Брюнеточка садистка,—
Три девы жили там.
Не ссорились, не бранились,
Любили свой чердак,
Немножко веселились,
Трудились кое-как.

[1] Напечатано в газете «За правду», 1913 г.

Курсистка не спешила
На лекции ходить,
Модистка не любила
Под праздник долго шить,
Садистка же садила
Прекрасные цветы
И юноше внушила
Любовные мечты.

Курсистка, что ни праздник,
Ходила в Эрмитаж.
Сосед ее — лабазник
За нею шел туда ж.
На нем пиджак лиловый,
На ней пунцовый бант
И прочие обновы
Там видывал Рембрандт.

Модистка завивалась
И, в зеркало взглянув,
Под праздник отправлялась
В театр веселый «Буфф».
Встречал там эту дуру
Любитель-фотограф,
Для снимочков натуру
В модистке отыскав.

Садистка с инженером
В семейный мчалась сад,
Училась там манерам
И ела вино рад.
Она была бы рада
В саду и спать меж роз,
Но инженер из сада
Ее на дрожках вез.

Вот в том и вся отрада
Тем девушкам дана!
Чего ж еще им надо,
Какого же рожна?

В этом стихотворении перед вами во всей красе поэт «чистого искусства» Сологуб,—не то подвыпивший буржуазный саврас, не то плюгавый и похотливый «культурный» старикашка,—во всяком случае представитель того «света», который «предает поруганью» «беззащитного друга».

Стихотворение «Три девы»—грязное в нравственном отношении произведение. Но не удивляйтесь, читатель, этому: все-таки оно—произведение «чистого» искусства. С названием здесь произошло то же, что и с названием политических партий: грязь свойственна «чистому» искусству в неменьшей мере, чем коварство и корысть, неправда и неправота свойственны «п р а в ы м» политическим партиям.

Но, конечно, не во всяком произведении чистого искусства непременно имеется грязь. Зато почти в каждом можно подметить уклон к «свету, предающему поруганью» бедняка, к миру «правых» партий. Вот, для примера, совсем чистый, красивый и на вид безобидный стих:

И девы розами цветут.

Это сказал поэт, воспевая Москву времен крепостного права; этот стих безусловно относится к области чистого искусства.

Однако нашелся демократ, который прибавил:

А девок розгами секут.

Напоминание о положении крепостных крестьян явилось, конечно, великим оскорблением «святого», «чистого» искусства.

Возвышает ли людей «чистое» искусство? Это—опять вопрос очень сложный. И здесь я отмечу лишь одну его сторону, часто забываемую. Забывают, что под влиянием произведения искусства

человек может сам себя считать возвысившимся, а на самом деле стать хуже, принизиться.

Например, у помещицы, секшей «девок», могла проснуться совесть. Но вот она умилилась над тем, что у ее дочек щеки «розами цветут»; в этой красоте и здоровьи дочек она найдет оправдание своей деятельности, повысится в собственных глазах и пуще прежнего станет сечь направо и налево.

Или покупатель женского тела прочтет Некрасова, увидит гадость дел своих и понизится в собственном мнении, а на самом деле станет лучше; но затем начитается Сологубов и, с успокоенной совестью, гоголем пойдет по Невскому, выбирая жертву: он повысился под влиянием Сологуба в собственных глазах, хотя на деле стал хуже.

Этими противоречиями объясняется, например, и тот факт, что люди, перебегающие из стана «погибающих за великое дело любви» в стан «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови», обыкновенно становятся ярыми поклонниками чистого искусства.

Благоговея богомольно
Перед святыней красоты, —

они успешнее гасят свою мысль, убивают в себе остатки честности и достигают забвения о тех, кто погибает.

Но, повторяю, вопрос о влиянии чистого искусства—вопрос очень сложный. Ведь, например, сознательный рабочий и без подсказки почувствует связь между «розами» на лицах детей эксплоататора и бескровностью лиц детей пролетария. Точно так же рабочий естественно испытывает чувство гадливости по отношению к слюнявому Сологубу с его «шатеночкой-модисткой» и легче поймет тот мир, что венчает лаврами Сологуба.

Однако действительное удовлетворение пролетарий получит не от описания того, как помещичьи дочки «розами цветут», а скорее от «музы мести и печали», повествующей о том, как «девок розгами секут».

Поклонники чистого искусства считают, например, Некрасова стоящим вне пределов искусства, и тем самым уже они дают нам право делать между деятелями искусства выбор, производить чистку в ворохе произведений искусства и признавать ценными лишь те из них, которые мы сами, по размышлению и чувству, считаем для себя ценными.

Произведя такую чистку, мы уже,—даже не соглашаясь с Виктором Гюго, будто искусство дает свободу,—все же с неизменным волнением будем перечитывать его гимн искусству:

Искусство — молния средь бури;
Оно же — ясный блеск лазури,
Когда уж нет на небе туч!
И как звезда в нем золотая,
Чело народа украшая,

Искусство — славы яркий луч!
Искусство — гимн земли священной;
Звучит тот гимн по всей вселенной!
Пленяет город им леса,
Пленяет юноша им деву,
И вторят дивному напеву
Любви невинной голоса.
Искусство — мысль; и в край из края
Стремясь и цепи разбивая,
Повсюду свет ее проник.
Порабощенному народу
Искусство вновь дает свободу,
Народ свободный им велик!

Ф. Сологуб и мировая война[1]

К вопросу о германской культуре Федор Сологуб вплотную подошел в статье «Мира не будет». Автор статьи, не всегда одобряемый в либеральной печати, пользуется большой популярностью среди буржуазной интеллигенции новейшей формации; вместе с тем он отличается способностью угадывать настроения этой интеллигенции. Поэтому настроение Сологуба, очевидно, является показателем и настроения широких слоев русской интеллигенции.

Ф. Сологуб издевается над мыслью, будто война до конца необходима только для сокрушения германского милитаризма; причина борьбы лежит глубже: «Германец и русский так отличны один от другого, словно они живут на разных планетах». Теперь они вступили в борьбу, которая будет измеряться столетиями. Для русских это—борьба за национальное самоутверждение, за самое право на жизнь; поэтому они поставлены в необходимость не только победить, но и раздавить Германию. Германия—совершенно другой, сравнительно с нами, мир. «Против нашей восточной, мистической, религиозной души встала воплощенная в Германии механизованная душа антихристианская, рационализованная по-машинному, душа без вещих ведений и прозрений, но с необычайною силою материализма, душа язычников Гёте, Канта, Ницше и всех этих бесчисленных блестящих, но холодных умов». Понятно, что пруссаки разрушают католические соборы: ведь они ничего не говорят их «лютеранскому рассудительному чувству».

Забыв, что в Германии имеются и католики, записав этих католиков в нехристей заодно с лютеранами, Ф. Сологуб призывает Россию сказать миру свое новое слово. «Материя и сила—вот что видит в мире германец, и совсем иное видит в мире наш мистический Восток, от которого должен сиять миру свет спасения».

[1] Статья напечатана осенью 1914 года в газете Ясинского-Проппера «Биржевые ведомости». По напечатании статьи все оригиналы были мной уничтожены из опасения обыска. Статья эта впервые была напечатана в саратовском сборнике «Под старым знаменем» и перепечатана в книге «1915—1916», издание Свердловского университета — М. О.

Должны выработаться новые русские поколения, свободные от европеизма, «не зараженные холопским поклонением перед тевтонскою материальною культурою». И для этих поколений мы должны работать над «возвеличением и воскрешением русской и иных славянских и восточных культур».

Что Ф. Сологуб не остался одиноким, что голос его не прозвучал в пустыне, это доказывается уже одним тем, что звезда этого писателя нисколько не померкла в глазах русской интеллигенции после напечатания статьи «Мира не будет». Но только через год, на съезде правых организаций, состоявшемся под руководством Маркова 2-го, Дубровина, Маклакова и Щегловитова, правые выставили, в соответствии с желанием Ф. Сологуба, требование—признать протестантизм состоянием языческим, что доказывают немцы служением золотому тельцу, милитаризму и жидовству. На этом основании правые потребовали изгнания протестантов со всех государственных должностей и запрещения протестантам держать православную прислугу. Жидовство и германизм, по мнению правых, зиждутся на одних и тех же основаниях. Таким образом, столетняя война, которую проповедует Ф. Сологуб, может считаться окончательно объявленной только с ноября 1915 года, со времени съезда правых организаций при министре внутренних дел А. Н. Хвостове.

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ (ДВА ТИПА [1])

Хочу писать о произведении, которого не читал. Это—рассказ Л. Андреева «О семи повешенных». Как можно было не прочесть его? С одной стороны—такой популярный писатель, с другой—такая жгучая тема... Да и давно ли перестало у нас считаться преступлением не прочесть новейшего произведения модного беллетриста?

Все-таки я не читал нашумевшего рассказа. И вероятно, не прочту. Почему? Ответом пусть будет настоящая статья. Можно смотреть на нее как на повесть об индивидуальных переживаниях.

Начну издалека. В старые годы художник Верещагин много нашумел картинами ужасов войны 1877—1878 годов. Горы трупов, раненые, искалеченные, умирающие. Картины были приняты русской интеллигенцией как протест против человеческой бойни. Между художником и публикой установились отношения взаимной привязанности, понимания.

И я разделял эти чувства, наслаждался художественными творениями Верещагина, вынося протест против войны.

Позже прочел его же мемуары из времени войны. Один эпизод произвел на меня особое впечатление. Верещагин рассказывает о столкновении с генералом Скобелевым. Верещагин обратился к гене-

[1] Напечатано в «Сибирской мысли», № 174 за 1911 г., статья подписана — М. Александров.

ралу с просьбой повесить нескольких пленных, так как художник давно мечтал написать картину на тему смертной казни через повешение. Скобелев отказал. Долго упрашивал его художник, доказывал, умолял повесить хотя двух-трех человек. Но Скобелев оказался неспособен проникнуться высокими эстетическими целями и упорно не соглашался. Генерал и художник холодно расстались. Верещагин был очень огорчен.

Отвлекусь в сторону. Минувшей зимой мне пришлось как-то к слову помянуть эпизод. Собеседники возразили:

— И очень жаль, что благодаря Скобелеву мы лишились прекрасного художественного произведения.

Признаться, такого отношения к эпизоду я не ожидал и в первый момент смутился. Затем поспешил утешить эстетических собеседников. Я рассказал им, что горе Верещагина было кратковременно, что в апреле 1881 года, на счастье художника и его почитателей, в России были казнены Перовская, Желябов, Кибальчич, Рысаков и Михайлов, и что благодаря этому счастливому событию мечта Верещагина изобразить картину смертной казни получила осуществление. Утешив эстетических собеседников, я поспешил расстаться с ними.

Возвращаюсь к Верещагину. Чтение его рассказа о столкновении со Скобелевым в свое время заставило меня пережить многое. Не говорю об отношении к картинам Верещагина, о том, что мне стало противно и как-то стыдно останавливаться перед ними в картинной галлерее. Важнее была ломка в моих представлениях о художественном творчестве вообще.

Раньше думал, что художник, вызывая в нас те или иные настроения изображением человеческого горя, бедствий, несправедливости, должен предварительно сам переживать те же настроения. Раньше казалось, что если читатель или зритель чувствует, то значит, и художник прочувствовал: между ними—родство по настроению.

Рассказ Верещагина о столкновении со Скобелевым перевернул в моей душе все вверх дном. Оказывалось, что горе, которым мы болеем, для художника—только интересный сюжет, приятное событие, как для гробовщика смерть близкого нам человека. Умер у нас ребенок, отец, брат—гробовщику только доход. Случилась война, пожар, голод, землетрясение, казни—для художников, поэтов, беллетристов это—только доходные сюжеты.

И по прочтении рассказа Верещагина я готов был навсегда отречься от всех самых любимых поэтов, беллетристов, художников—от Некрасова, Надсона, Лермонтова, Салтыкова. Все они—гробовщики,—думалось мне. И жить становилось тошно. Спас Пушкин. Никто из художников слова не говорил так правильно и так подробно о своих душевных переживаниях художественного творчества, как Пушкин. Бесконечно мил и близок мне Пушкин, и как поэт,

и как личность, какие бы разногласия ни разделяли нас. Но, может быть, больше всего дорог он стал после того, как разъяснил мне, потрясенному рассказом Верещагина, тайну художественного творчества. Здесь не место передавать подробно, что говорил Пушкин. Отмечу главнейшие черты.

Для творчества нужно вдохновение. Что это такое? По определению Пушкина,—расположение души к живейшему восприятию впечатлений и понятий. Но грубая ошибка думать, будто творчество происходит под непосредственным влиянием впечатлений. Напротив, сильные впечатления убивают творчество. Для вдохновения необходимо спокойствие: источник творчества—не непосредственное впечатление, а воспоминание.

Поэт на Кавказе. Он подавлен впечатлениями; но душа его полна томительной думы; огонь поэзии угас настолько, что поэт восклицает:

Она прошла, пора стихов,
Пора сердечных вдохновений!
Восторгов краткий день протек,
И скрылась от меня навек
Богиня тихих песнопений.

Кавказ стал воспоминанием,—явилась и богиня песнопений о Кавказе, подобно тому как—

Прошла любовь — явилась муза.

А в период любви поэт отвыкает от гармонической забавы, ему становится невнятен призывный клич гордой славы, его покидает тайный гений вымыслов и сладких дум: все поглощено жаждой наслаждения. Любя, поэт «глуп и нем»; если же и случится писать стихи, то он пишет элегии, а не воспевает любовь.

Спокойствие—необходимое условие творчества. Гробовщикам и Верещагиным спокойствие дается их безучастием к человеческому страданию; Пушкиным оно дается временем: им нужно, чтоб острота впечатления сгладилась, чтобы впечатление стало прошлым.

У читателя с Пушкиным—солидарность впечатлений; у нас с гробовщиком, с Верещагиными, впечатления противоположны.

Об одном поэте Пушкин говорит: «В нем не вижу я ни капли творчества, но много искусства».

У Верещагиных много искусства. Есть, следовательно, два типа художников: Пушкины и Верещагины.

Обратимся теперь к нашему недавнему прошлому. Не знаю, как вы, читатель, реагировали в душе на массовые смертные казни. Вероятно, с такой же болью, как и я. Не было почти вопроса: кого казнят, за что казнят. Было одно: ежедневное спокойное, размеренное убийство безоружных и беззащитных. Были сотни и, может быть, тысячи заключенных, здоровых, молодых, с часу на час ждущих смерти.

В газете прежде всего, бывало, прочитываешь о казнях. Не из интереса, не из любопытства, а как бы из потребности отдать усопшим последний долг внимания.

Возможно ли было при этих условиях то спокойствие, которое необходимо Пушкину для творчества?

Вспоминаю Вл. Короленко. Кажется, он художник. Написал «Бытовое явление», публицистику.

Вспоминаю Л. Толстого. Тоже ведь как будто художник. Написал «Не могу молчать», публицистику.

Вспоминаю Л. Андреева и его рассказ «О семи повешенных». И никак не могу отделаться от мысли о Верещагине. Все мне кажется, будто Верещагин приветствует Л. Андреева:

— Вашу руку, коллега! Поздравляю! Счастливы вы: какой у вас богатейший выбор натуры! Я тщетно молил неуча Скобелева... Пришлось ждать несколько лет, чтобы зарисовать пятерых, первых попавшихся. А у вас, коллега,—семеро, и какое разнообразие типов! Завидую: вы живете в такое хорошее время превосходнейшей и обильной натуры для своей картины...

И вот, читатель, это рукопожатие,—пусть воображаемое,—Верещагина Леониду Андрееву стоит перед моими глазами так ярко, и впечатление от него на меня так сильно, что я никак не могу заставить себя подойти ближе к автору «Тьмы».

Никому не хочу я навязывать своих настроений. Пишу только из потребности высказаться. И прошу смотреть на эту мою статью только как на человеческий документ.

ПО ПОВОДУ ОДНОГО РАССКАЗА [1]

На-днях в «Новой рабочей газете» [2] был напечатан рассказ Н. Тасина «Гришка—социал-демократ». Уголовный арестант Гришка рассказывает, как он сидел когда-то в одной камере с политическими, и как социал-демократы старались залучить его в свою партию. В рассказе Гришки кое-что верно (например, о том, как заключенные социал-демократы помогают друг другу), но эта капля правды тонет в массе вранья.

Фельетон Н. Тасина вызвал протесты читателей. Один из этих протестов напечатан в «Правде труда»: тт. булочники, авторы протеста, считают, что рассказ Н. Тасина «по духу своему направлен против социал-демократии, что таким рассказам место в черносотенной газете».

Несомненно, что ни Н. Тасин, ни редакция «Н. Р. Г.» не ожидали такой оценки рассказа. И я думаю, что у них и в мыслях не было путем этого рассказа бороться против социал-демократии. По-

[1] Напечатано в газете «Правда труда», № 6 от 7 сентября 1913 г.

[2] Это была газета «ликвидаторов», то есть правого крыла меньшевиков

лучается недоразумение,—и я думаю, недоразумение гораздо более серьезное, чем кажется с первого взгляда. Это—лишь одно из мелких проявлений одного большого «недоразумения» последних лет.

Теперь это факт всем известный, что буржуазные «интеллигенты» ушли от рабочего движения; а в 1905 году они кишмя кишели в нем. Каким образом, в каких литературных формах произошел этот отлив? Отдельный человек может совершить измену и предательство, ничем не прикрашивая своего поступка. Но для целого общественного слоя,—да еще для умственно развитого,—необходимы мостики и прикрасы, чтобы и самое предательство было как бы не предательством, а служением чему-то высокому.

Таким мостиком или прикрасой издавна являлась в истории теория чистого искусства, искусства для искусства. По этой теории на первом плане должно быть не содержание, а форма. И превыше всего ценится «талант». Талантливо—это и значит, по теории чистого искусства—прекрасно, благородно, возвышенно. А в какую сторону направлен талант—до этого, дескать, нам нет дела. И вот в литературе недавних лет читатели стали ценить «только талант». А талантливыми считались как раз те произведения, которые помогали совершить предательство без лишних укоров совести.

Началось дело с восстановления доброго имени (с реабилитации) Иуды Искариота [1]. Рассказ понравился интеллигенции, уже готовой в душе на иудино дело. После этого большим грязным потоком полилась иудина беллетристика. Напомню немногое.

Арцыбашев в «Санине» оплевывает всякое общественное дело и, по существу романа, ставит лозунг: «Водку и девку!» на место лозунга: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Над свежей могилой социал-демократа Арцыбашев говорит: «Одним дураком меньше стало!» И интеллигенция захлебывалась от восторга, читая «Санина», до небес превознося «талант» Арцыбашева.

За Арцыбашевым Сологуб в «Навьих чарах» старается изобразить собрания и митинги освободительной эпохи 1905 года на манер так называемой «собачьей свадьбы». Винниченко приравнивал революционеров к ворам и проституткам (рассказ «Купля»). Куприн вещал, что сокращение рабочего дня поведет к тому, что все человечество сопьется и передерется «в радостно-пьяном безумии» («Королевский парк») [2].

Почти все беллетристы, чтобы оплевать социал-демократию и пощекотать похоть читателей, рисовали в голом виде социал-демократок,—непременно «членов комитета» (Куприн, Сологуб и др.). А предательствующая интеллигенция читала все это и восхищалась «талантом»,—только будто бы талантом!

[1] Рассказ Леонида Андреева.

[2] Почти все такие произведения «искусства» печатались в журналах и сборниках, раньше носивших социал-демократическую окраску, главным образом в журнале меньшевика Ник. Ив. Иорданского.

Рядом со злобным оплеванием освободительного движения со стороны беллетристов шло зубоскальство и наглый смех со стороны фельетонистов и стихотворцев. Вспомните «Сатирикон»! Доходило до того, что даже в редакцию «Звезды» осенью 1911 года один фельетонист принес свое зубоскальство по случаю истории в каторге, стоившей жизни Сазонову и многим другим заключенным (понятно, что этот фельетонист получил от ворот поворот).

Наглый смех этот вызвал в свое время горячий протест со стороны Максима Горького. В своей статье М. Горький приводит и один из образцов этого подлого остроумия, которое может рассмешить только человека с иудиной душой или, в лучшем случае, человека безнадежно тупого. Вот этот образчик:

Ах, Иуда! злой Иуда!
Продал за тридцать Христа!
Поступил ты очень худо:
Мог бы взять не меньше ста!

Понятно, что иудиным душам поклонников Сологуба, Арцыбашева, Винниченки и компании такое остроумие было как раз по сердцу; для них уже не было вопроса, продать или не продать, а оставался только вопрос, как бы продать подороже...

В наши дни интеллигенция прошлого десятилетия уже закончила свой процесс ухода от рабочих, и потому не нуждается более в «талантливом» оплевывании освободительного движения. Поблекла звезда Арцыбашевых и Винниченок. И только, как бледные отзвуки недавнего разгула, появляются произведения вроде «Хаоса» Минского или «На ущербе» Р. Григорьева. Но среди беллетристов остались по традиции навыки «чистого искусства» и неуместного, бесцельного зубоскальства.

Возвращаясь к рассказу Н. Тасина, мы прежде всего спросим: правы ли товарищи булочники, говоря, что этому рассказу место в черносотенной газете? Я вновь перечитал рассказ, и—увы!—приходится признать, что во всем рассказе нет ни одной фразы, которая могла бы помешать черносотенной редакции напечатать этот рассказ у себя в газете.

Рядом с беспредметной «красотой» имеется в рассказе Н. Тасина и материал для беспардонного зубоскальства,—вроде коверкания слова «социал-демократ» в слово «социал-домократ», и возбуждения похоти по отношению к социал-демократке (непременно «члену комитета»): «Господи, думаю, вот бы с такой поамуриться, полжисти не пожалел бы».

Но, несмотря на все это, было бы несправедливо приписывать злостные намерения Н. Тасину или редакции «Новой рабочей газеты». Тут не злостное намерение, а отрыжка недавнего прошлого: дело в том, что иудиной беллетристикой увлекались в свое время не только люди с иудиной душой; иные увлекались по неразумению: в иудином деле они были склонны видеть какое-то новое слово.

И маленьким отзвуком этого большого недоразумения явился рассказ Н. Тасина «Гришка—социал-демократ». Н. Тасин хотел быть служителем «чистого искусства», хотел скрыть свое отношение к рассказу Гришки, хотел быть «объективным». А получилось то, что рассказ вносит смуту в умы тех читателей, которые мало знакомы с социал-демократией. Н. Тасин только в одном месте оговаривает, что Гришка врал (будто ему назначили 100 рублей в месяц). Неосведомленный читатель в праве подумать, что во всем остальном Гришка не врал.

И нужно пожалеть, что редакция «Н. Р. Г.» не приняла этого во внимание. Лозунг чистого искусства обычно является лишь прикрытием для рыцарей мракобесия, реакции и предательства.

КУПРИН И АРЦЫБАШЕВ

Читатели «Правды» желают, между прочим, иметь краткую оценку таких писателей, как М. Горький, Куприн и другие. Вероятно, редакция постарается удовлетворить это законное желание. Я же хочу обратить сейчас внимание на одну только общественно-политическую сторону писательской деятельности Арцыбашева и Куприна.

Арцыбашев совсем на-днях заявил, что он «далек от социал-демократизма», что «социал-демократия изживает себя» («Утро России», 21 августа). Это—ценное признание.

Дело в том, что Арцыбашев почти всю свою славу приобрел, печатаясь в марксистских журналах («Образование», «Современный мир» и др.). Люди, умеющие разбираться в том, что читают, давно заметили, что каждое почти произведение Арцыбашева насквозь пропитано затаенной жгучей ненавистью к социал-демократии.

Эта ненависть порой прорывалась в грубой форме. Например, над могилой социал-демократа Арцыбашев произнес устами Санина «надгробное слово»: «Одним дураком меньше стало». Но даже такая грубость не помешала тому, что иные считали Арцыбашева чуть ли не социал-демократом—все на том только основании, что он печатался в марксистских изданиях.

Теперь Арцыбашев разоблачил себя. Но что нужно думать о писателе, который проник во враждебную ему среду, скрывая целые годы свою личину, ради того, чтобы лучше устроить свою карьеру?

К сожалению, не лучше приходится думать и о Куприне. Он тоже много печатался в марксистских журналах и тоже только не очень давно разоблачил свое лицо.

Года полтора назад напечатан его рассказ «Королевский парк»[2], где Куприн издевается над рабочими идеалами, изображая будто бы картину жизни через шестьсот лет.

[1] Напечатано в «Правде», № 106 от 1 сентября 1912 г.

[2] В социал-демократическом журнале «Современный мир».

Рабочие, как известно, добиваются сокращения рабочего дня—это одно из главных требований. Куприн пишет, что добились даже не восьмичасового, а четырехчасового рабочего дня, и добавляет: «По правде сказать, все это было довольно скучно».

А затем, по рассказу Куприна, от скуки «все человечество в каком-то радостно-пьяном безумии бросилось на путь войны, крови, заговоров, разврата и жестокого, неслыханного деспотизма и... обратило в прах и пепел все великие завоевания мировой культуры».

Как видите, возражения Куприна против короткого рабочего дня—те же, что и у любого купца или фабриканта: дай, дескать, волю рабочим и приказчикам, так они все перепьются со скуки и насмерть передерутся.

Точно так же все буржуазные писатели чуть не сто лет стращают: если верх возьмет рабочий класс, то «обратятся во прах и пепел все великие завоевания мировой культуры».

Куприн не смог стать выше пошлостей, которые твердит самый заурядный буржуй.

ПО ПОВОДУ А. КУПРИНА И ЮБИЛЕЯ И. ЯСИНСКОГО [1]

О фантазии А. Куприна «Королевский парк» стоит поговорить.

«Наступило начало XXVI столетия по христианскому летоисчислению,—начинает Куприн.—Земная жизнь людей изменилась до неузнаваемости... Гений человека смягчил самые жестокие климаты, осушил болота, прорыл горы, соединил моря, превратил землю в пышный сад и в огромную мастерскую и удесятерил ее производительность. Машина свела труд к четырем часам ежедневной и для всех обязательной работы. Исчезли пороки, процвели добродетели».

Читатель уже склонен думать, что Куприн выражает сочувствие идеальному строю, как сам его понимает. На деле же перед нами настроение, как раз обратное сочувствию. Хихикнув насчет процветания добродетели, Куприн продолжает:

«По правде сказать, все это было довольно скучно. Недаром же в середине XXII столетия, после великого южно-африканского восстания, направленного против докучного режима, все человечество в каком-то радостно-пьяном безумии бросилось на путь войны, крови, заговоров, разврата и жестокого, неслыханного деспотизма и... и обратило в прах и пепел все великие завоевания мировой культуры».

Возражения Куприна против социалистических идеалов не новы. Его «докучный режим»—это старое спенсеровское «грядущее рабство». Ежедневная, хотя бы четырехчасовая, работа всегда казалась паразитическим классам (для себя) очень докучной; для рабочих,

[1] Напечатано в «Сибирской речи» от 20 июня 1911 г.

напротив, они же считают скучной всякую свободную минуту. Когда заходит речь о сокращении рабочего дня или о праздничном отдыхе приказчиков, Кит Китычи говорят: «Зачем свобода? Сопьется народ,—только всего и будет»... и Куприн продолжает:

— Правильно говорите, Кит Китыч: сопьется народ, и от скуки в радостно-пьяном безумии начнет резать друг друга, устраивать заговоры, предаваться разврату—и поддастся деспотизму. Умные люди давно говорят о неслыханном деспотизме рабочих партий и профессиональных союзов.

Поглумившись над борьбой рабочих за сокращение рабочего дня и постращав Кит Китычей заговорами, Куприн переходит к обличению королей, лишенных в XXII веке власти и доживающих свой старческий век.

Ради чего понадобилось обрушиться на старцев XXVI века? В чем они провинились? В том, что «слепо, гордо, бесстрашно и по-своему трагически «оставались верны своим политическим убеждениям». Ясно: дело не в королях XXII века, а вообще в людях, не изменяющих своей партии.

Спорить с Куприным—много чести для него. Но сказать несколько слов по поводу его рассказа стоит.

Жизнь королей изображена такой, какой обычно представляется враждебному наблюдателю внешняя жизнь людей в тюрьме, в ссылке, в эмиграции. «Собранные в одно место, предоставленные сами себе и своей бездеятельности, они медленно разрушаются телом и опускаются душою в общественной богадельне (читай— в тюрьме, ссылке, в заграничных колониях)... Они превращаются в сморщенных, кряхтящих, недужных старичков, завистливых, бранчливых, подозрительных и черствых... Давнишнее взаимное раздражение, всегда накопляющееся между людьми, долго и поневоле живущими вместе, скупость, нервность и вспыльчивость скоро перессорили их».

Поплевавши таким образом на людей, «долго и поневоле живущих вместе», Куприн всей силой своего гнева обрушивается на них за веру в лучшее будущее.

«Изредка они,—повествует он,—во время обеда, как индюки сквозь сон, еще произносят всякие фразы:

— Мой народ и моя армия...

— О, если бы знали, как обожали моего отца подданные!.. Я могу вам дать прочитать письмо, полученное от моей партии...

— Да, и до меня дошли сведения, что у меня, в моих горах, идет сильное брожение...

— Люди должны же когда-нибудь одуматься и возвратиться к законному порядку вещей...

Но никто этого бормотания не слышал, и никто, даже услышав, ему не верил. У них, у всех, взятых вместе, остался лишь один верный подданный».

В заключение Куприн рекомендует старикам заняться тем делом, к которому они только и годны: клеить для детей коробочки из разноцветного картона.

Прежде всего полезно помнить, что побежденные не всегда подвергаются только оплеванию. Например, Пушкин не называл осужденных декабристов индюками, не рекомендовал им клеить коробочки. Напротив, Пушкин писал им:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье:
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Пробудит бодрость и веселье.
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас;
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Во-вторых, «Королевский парк», не стоит у Куприна особняком.

В этом году праздновался юбилей И. Ясинского. Прочтите у В. Кранихфельда («Современный мир», № 3), что за фигура Ясинский. Злостный ренегат и пасквилянт, он вызывает собою в памяти другое имя,—имя Евно Азефа. Куприн был членом юбилейного комитета и приветствовал юбиляра речью такого содержания: «Я торгую тем же товаришком, что и он, юбиляр, и как младший ученик поднимаю бокал за здоровье своего у ч и т е л я».

Ясинский—мелкий беллетрист и крупный пасквилянт. Куприн—беллетрист крупный. По торговле каким же «товаришком» он—ученик Ясинского?

Еще сопоставление: Азеф, служа в полиции, выдавал себя за революционера. Ясинский, покровительством цензуры ставший редактором частной газеты, подписывался—«Независимый». Куприн видит в Ясинском своего учителя, издевается над борьбой рабочих за улучшение своего положения, оплевывает «стариков» за верность убеждениям и несет рассказ не в «Новое время», где ему место, а в «Современный мир», где М. Горький, где Г. Плеханов...

В «Современном мире» В. Кранихфельд берет на себя роль адвоката писателей [1], почтивших Ясинского. Трудно признать уместность этого адвокатского выступления. Уместнее было бы поставить

[1] Нужно заметить, что именно В. Кранихфельд лучше других выяснил весь позор участия в юбилее Ясинского. Он не оправдывает чествователей, а ищет смягчающих обстоятельств (незнание). К Куприну и ссылка на незнание вряд ли подходит.

вопрос о допущении чествователей (в их числе—рядом с Суворинным—Л. Андреев, Шолом Аш, Ив. Рукавишников, Чулков, Сергеев-Ценский, А. Ремизов и др.),—о допущении их на страницы «Современного мира».

А то ведь положение создается неудобное...

«БЕЛЛЕТРИСТ» В. ВИННИЧЕНКО [1]

Газетные рецензенты и рекламисты усиленно носятся сейчас—отчасти от безделья—с именем В. Винниченки. Не одно, впрочем, безделье виновато. Для изданий известного политического направления или направлений писания В. Винниченки имеют свою цену. Недаром, например, кадетская печать («Русская мысль», «Современное слово») так хлопочет...

Для образца беру один из рассказов, может быть, наиболее яркий.

Некая организация решила жечь помещичьи усадьбы в расчете, что помещики «налягут на правительство», а правительство «пойдет на уступки». План—достаточно глупый и достаточно невероятный. Но беллетристам предоставлено судьбою право приписывать кому угодно и что угодно, не представляя доказательств. Широко пользуется этим правом и Винниченко.

Нужно было,—повествует он далее,—сжечь, между прочим, усадьбу, охраняемую «целой оравой казаков, которые день и ночь объезжали имение». Дело трудное. Но сын владельца усадьбы был членом организации,—кому, как не ему, взяться за это дело?

Он берется в расчете заслужить признательность девицы Иры, тоже члена «организации». Берется—и ладно. Казалось бы, все просто: приехал бы наш герой в усадьбу честь-честью, день провел с папой и мамой, а ночью подпалил бы что следует—и делу конец.

К счастью, беллетристам дана свобода ничего не доказывать, а такому «беллетристу», как Винниченко, дана и свобода от логики. Поэтому герой его поступает во всем наоборот здравому смыслу. Он устраивает маскарад и в костюме деревенского парня идет пешком за тридцать верст.

Собственно говоря, маскарад устраивает не герой, а автор, потому что маскарадная бессмыслица нужна ему для проведения «идеи». Какой идеи—увидим ниже.

Ряженый шут, герой рассказа, оказывается попутчиком вора и проститутки. Вор пристает к попутчице; она требует пять рублей. Подошли к усадьбе. Вор пошел воровать, чтобы купить проститутку; маскарадный герой пошел поджигать, чтобы купить расположение революционерки Иры.

Оба предприятия удаются. Наступают последствия. Вор осу-

[1] Напечатано в «Звезде», № 25 от 11 июня 1911 г.

ществляет с проституткой что требуется. Является и Ира к герою в рощу, тут же возле усадьбы [1], охраняемой «целой оравой казаков, которые день и ночь объезжают имение». Вероятно, по случаю пожара,—а вернее, по воле автора,—казаки в эту ночь не объезжают имение, а спят сном праведников. Их мирный сон дает автору возможность изобразить сцену в роще следующего содержания:

Является Ира.

«Вмиг обвила мою шею, прижалась; помню, лица моего коснулись горячие губы, встретились с моими; застучало сердце, в голове поднялся туман, в ногах больно-сладостно защемило, все тело напряглось чем-то дивным, горячим».

Казалось бы, если «в ногах защемило», то уже все ясно. Но автор ставит целую строку красноречивого многоточия, чтобы читатель просмаковал хорошенько всю сцену и твердо запомнил, чем и как занимались господа революционеры и революционерки в моменты осуществления своей «тактики». Опасаясь, однако, недогадливости читателя, Винниченко и после многоточия спешит рассказать:

«Когда я, наконец, поднял голову с груди Иры и раскрыл глаза, вокруг нас уже совсем светало. Ира быстро, стыдливо прикрыла ноги платьем и тоже села».

А в горевшей усадьбе продолжала непробудно спать целая орава казаков, которые обычно «день и ночь объезжали имение». Благодатный казачий сон дал автору возможность устроить длинную сцену прощания героя с Ирой, а затем на нескольких страницах завести разговор между вором и «революционером».

Разговор же этот и сцена прощания понадобились г. Винниченке для того, чтобы доказать пять истин:

Первая. Что вор и революционер—величины тождественные.

Вторая. Что проститутка и революционерка величины тождественные.

Третья Что все девушки—продажные особы: «без купила к девке не лезь».

Четвертая. Что в России революция произошла по той причине, что кавалерам желательно было испытать, как «в ногах защемило», а девицы за это удовольствие запрашивали шальную цену (быть «героем»).

Пятая. (вытекающая сама собой из первых четырех). После революции наступило успокоение, потому что девицы стали покладистей и берут дешевле.

Публицисты реакционного лагеря изобретали разные объяснения «смуты». Во времена Каткова действовала «польская справа». Потом стал «жид гадить». В 1905 году явились «японские миллионы».

[1] «Где-сни когда-то агитировали вдвоем Омелька Задрипаного».—Хихи,—радуются кадетские рецензенты,—вдвоем! Задрипаного! Омелька! Огромный талант!

Объяснение Винниченки—«без купила к девке не лезь». Объяснение Иеронима Ясинского—«английские фальшивые кредитки».

Все эти объяснения стоят одно другого. Удивительно ли, что в наше время всевозможного отступничества В. Винниченко становится героем дня? Ему, как беллетристу, прощается всякое отсутствие внутренней логики рассказа, лишь бы он хорошенько «жарил» по людям 1905 года.

В. Винниченко заслужил свои лавры. Много ли в нашей беллетристике людей столь же смелых? В 70-х годах—Дьяков-Незлобин, в 80-х—Ясинский; после 1905 года—легион званых, да мало избранных.

Орудие пасквиля притупляется. Да и неизвестно, куда повернет колесо истории. Поэтому пасквилянты нашего времени стараются затушевать свою физиономию и хоть казаться правдивыми. Для Винниченки даже внешний вид правдивости—ненужная роскошь.

Теперь он написал новое произведение о честности. Кому же, как не нашему автору, и говорить о ней! Недаром существует поговорка: на воре шапка горит.

Если иной читатель из чувства брезгливости пренебрежет поучениями г. Винниченки относительно честности, если вовсе не станет читать их,—в этом не будет ничего удивительного.

СВОБОДНАЯ СОВЕСТЬ [1]

«Мы живем в момент, исключительно серьезный и важный не только для нашей родины, но, пожалуй, и для всего человечества»,—признается Эртель на стр. 198 сборника. «Мы переживаем время полной переоценки всех общественно-политических ценностей,—вторит Эртелю Котляревский.—То, что многими годами накапливалось в глубине общественного сознания, неудержимо выходит наружу на свет божий. Как неотложная задача, встает перед русской жизнью—обеспечение прав личности и между ними—права религиозного самоопределения».

Помочь решению части «неотложной задачи», посильно способствовать обеспечению прав личности в области религиозного самоопределения—такова, очевидно, главная цель сборника: об этом свидетельствует и название книжки. Поэтому рецензент имеет право не останавливаться долго на поэтических красотах сборника, с его разорванным «ожерельем дней» и высоко поэтическими мраморными мордами»:

Теней неверная игра
Под ним пестрила цоколь твердый,
В бассейны ленты серебра
Бросали мраморные морды.

[1] По поводу «Литературно-философского сборника» напечатано в книге I журнала «Образование» за 1906 г.

Перейдем прямо к статьям, посвященным защите или выяснению принципа свободы совести. К удивлению читателя, который льстился на приобретение книги исключительно ради ознакомления с вопросом о свободе совести, соответствующие статьи занимают в книге сравнительно очень небольшое место. Трактуется же вопрос если и своеобразно, то не очень продуктивно.

«Конечно, самый принцип свободы совести признавался (русским обществом) как нравственная аксиома, но признавался, так сказать, отвлеченно»,—соглашается Котляревский и затем на многих страницах поет гимн этой аксиоме. Занятие, может быть, и приятное, но столь же продуктивное, как пение гимнов во славу таблицы умножения. Своеобразность же защиты принципа состоит в том, что автор, подобно щедринскому карасю-идеалисту, обращает внимание лишь на «религиозно-философскую сторону свободы совести»,—как будто трактование вопроса с этой стороны не является отвлеченным,—и обращает свое слово не к тем, кто терпит религиозные гонения, а к представителям церкви, которые до сих пор «часто» (а не почти исключительно?) выказывали более чем холодное отношение к этой свободе, которые отождествляли свободу совести со свободой от совести.

Котляревский пытается уверить, впрочем, что дела переменились: сама церковь поднимает теперь голос за свободу совести. Но если это правда, то речь Котляревского является сугубым гимном в честь никем не оспариваемой таблицы умножения. Однако Котляревский не унимается и продолжает аргументировать: «Свобода совести религии есть необходимый коррелат свободы науки. Нельзя себе представить второй там, где нет первой»,—наставляет наш карась-идеалист современных российских щук в мундирах и подрясниках,—щук, которые впадают в озлобленное бешенство при одном упоминании о науке и ее требованиях.

Эртель высказывает «глубокое убеждение», что какое бы то ни было освобождение возможно лишь при наличности и под условием свободной совести. Оставляя в стороне вопрос о том, насколько этот аргумент убедителен для щук разных ведомств и рангов, я отмечу только, что глубокое убеждение Эртеля несколькими страницами ниже благополучно разбивается Астровым, который видит в свободе совести не условие освобождения, а его результат: «Современное движение, направленное к обновлению и упорядочению нашей жизни, приведет, конечно, со временем и к освобождению совести от тяготеющих над нею внешних стеснений».

Нарушение принципа свободы совести авторы сборника справедливо видят прежде всего и больше всего не в полицейских и судейских гонениях, а в неравноправности лиц различных вероисповеданий. Но равноправие достижимо только при условии последовательного и полного проведения принципа отделения церкви от государства и школы от церкви. Если мы живем «в момент исклю-

чительно серьезный и важный», если до сих пор в области суждений о свободе совести мы страдали отвлеченностью постановки вопроса, то теперь первой обязанностью последовательных и нелицемерных поборников свободы совести должна была бы явиться резкая постановка вопроса об отделении церкви от государства и школы от церкви.

Во всем сборнике нет и намека на такую постановку. Вы можете, правда, найти в нем абстрактно-туманные рассуждения о том, что церковь должна быть не только обществом церковнослужителей, но и обществом всех верующих данного исповедания, вне зависимости от государственной власти. Но зависимость—одно, а пользование всяческими льготами в виде ассигновок Святейшему синоду и по всем прочим ведомствам—другое. Если вы не лицемерные поборники принципа свободы совести, то не отказывайтесь в такой момент, как переживаемый нами, ставить всюду точки над і и сойдите с заоблачных высот «всесветных казарм духа с одиночными заключениями, лишенными света и воздуха» (стр. 167).

В коротеньком заявлении, предпосланном сборнику, мы находим изложение символа веры редакции: «Вместе с Вл. С. Соловьевым мы полагаем, что христианская истина, «не отрекаясь от себя, может воспользоваться всеми произведениями ума, может сочетать веру религиозную со свободною философскою мыслью и откровения божественной жизни с открытиями человеческого знания»... И современное освободительное движение может осуществить свои идеалы лишь в связи с этой всеобъемлющей идеей христианского синтеза».

До сих пор мы, многогрешные, имели смелость предполагать, что, исходя из высших приобретений философской мысли и из глубочайшего анализа производственных отношений капиталистического общества, борцы за освобождение человечества от ига классового господства выработали новую всеобъемлющую идею освободительного синтеза. П. Астров победоносно ниспроверг нашу гордыню на четырех листиках статьи: «Правда марксизма». Эта «правда» заключается, видите ли, не в обосновании наших идеалов, а только в нравственном содержании нашего стремления осуществить идеалы социальной справедливости. Но, и ограниченная такими узкими рамками, лишенная всякого реального содержания, наша «правда» даже в нравственном отношении оказалась с изъянцем.

«Идеалом современного марксизма,—повествует Астров,—является коллективизм, то есть установление общественной собственности на средства производства (выделение Астрова). Освобождение политическое и охрана труда являются, с точки зрения марксизма, лишь ближайшими задачами для достижения этой конечной цели. О большем (опять выделение П. Астрова) говорили в далекое от нас время отцы церкви»...

И нравственные стремления коллективизма позорно стушевываются перед требованиями Иоанна Златоуста, Василия Великого, Иеронима, Амвросия и других учителей церкви.

Иоанн Златоуст «высказывался за общность всяких имуществ (выделение П. Астрова), за коммунизм». По словам Василия Великого, богатые «первые захватили то, что было общее, и стали этим владеть». Иероним писал: «Собственность есть плод воровства. Если его совершили не теперешние владельцы, то их предки». Учители церкви «доказывали им (богачам), что все их богатство—маммона неправды, все их—чужое, и что откупаться благотворительностью значит—лгать».

Все это прекрасно. Идите же, нынешние учители церкви в широкие народные массы и повторяйте им неустанно слова Иеронима, Василия Великого и Иоанна Златоуста. И вы, публицисты сборника «Свободная совесть», употребляйте свое перо не на воспевание мраморных морд и не на борьбу с марксизмом, а на развитие идей ваших учителей. И обращайтесь не к богатым, а к тем рыбарям и ремесленникам, к которым обращался Первоучитель. Тогда, может быть, и марксисты с их ограниченным коллективизмом не станут смеяться над вами и вашим всеобъемлющим синтезом. А пока вы витаете в бесконечной дали от вопросов об отделении церкви от государства, мы в праве напомнить вам неприятное слово: «демагогия».

Демагогия состоит в том, чтобы привлекать к себе массы, обещая то, что заранее решено не исполнить. Демагогия—обычный последний и часто удающийся прием господствующих классов, когда они чувствуют себя накануне падения. Если же демагогия опирается на реакционных пережитках, уцелевших в сознании массы, то успех ее еще более вероятен.

К счастью, вы не опасны. Демагог должен уметь рисковать, ставить все на одну карту. Способны ли вы на это?

Жила-была красавица. Она привыкла к поклонению. Но красота отцвела, и поклонники разбежались. Отцветшая красавица стала румяниться, белиться, подражать своим молодым соперницам в манерах. Увы! Белила и румяна были ясно видны при свете дня, а стремление подражать живым движениям молодости привело только—к жалкому манерничанию. Не воскреснет обреченное тлению...

О КНИГЕ Г. ПАНА [1]

Рост русской революции, всколыхнувшей до дна все слои населения, собрал множество своеобразных типов и положений,—неисчерпаемый источник для художника-психолога и для бытописа-

[1] Пан, Из недавнего революционного движения, книгоизд. «Коллективист», Пб. 1907.

теля. В числе типов, созданных революцией, одно из первых мест должен занять революционер-профессионал. Разрыв с прошлым, с друзьями молодости, с родной семьей. Жизнь, полная треволнений и мучений. Постоянная опасность быть арестованным, беспрерывное положение травленного волка. Неизбежные аресты. Всевозможные лишения и голодовки в виде протеста. Избиение на демонстрации, избиение в тюрьме, избиение в случае неудачного побега. Необычайные положения, из которых выручает только экстраординарная находчивость. Побег из ссылки и новые треволнения, избиения, аресты. Действительность, превосходящая нередко фантазию автора похождений Рокамболя,—все это внешняя сторона дела. А внутренняя не менее сложна и оригинальна. Сложный душевный процесс развития недовольства личной жизнью, неудовлетворенности мещанским прозябанием, выработки идеалов, готовности к самопожертвованию, подчас усталость, временами необычайный прилив энергии, жизнь одними нервами среди беспрерывно нарастающих, все более сложных грандиозных задач,—разве это не бесконечный материал для анализа?

Далее—общественная сторона дела. Разделение труда среди профессионалов, разнообразие функций, специализация на определенных видах работы. Идейная борьба, муки сомнений, метод разрешения политических задач. Все это тем более интересно, что и тип революционера-профессионала и его работа не отошли в прошлое. Напротив. Рост революции и рост репрессий выбрасывают из колеи легального существования все более значительные массы «профессионалов». Описание их жизни и способа действий может дать серьезные и полезные указания для многих сотен, а может быть, и многих тысяч людей.

Наконец, оборотная сторона явления. Возможность примазываться к революционно-общественному делу ради лично авантюристских интересов (такие авантюристы в случае серьезного ареста,—а то и так просто,—нередко делаются агентами-провокаторами). Опасность, незаметно для себя, на место интересов революции поставить узко профессиональные интересы своей группы. Опасности, вынуждающие лукавить с полицией, с обывателями, и отсюда еще горшая опасность—незаметно перейти к лукавству в отношениях между группами одной партии. Анализ всех этих опасностей мог бы, может быть, многих «профессионалов» предостеречь от ложных шагов...

Все сказанное достаточно объясняет тот интерес, который возбуждает поставленная г. Паном задача—изобразить в беллетристической форме уголок жизни «профессионала». Пишет г. Пан бойко, достаточно живо, есть, пожалуй, у него и некоторая наблюдательность. Намерения самые лучшие. И тем не менее нельзя без досады читать его книгу. Очевидно, автор не ведает, что творит. Он делает открытие в области исследования причин появления

революционеров по профессии. Оказывается, что причины эти— амурного свойства. Женщины оказывают «на все направление их деятельности решительное влияние» (стр. 5). «Влияние женщины и нашей любви к ней играет не последнюю роль в определении нашего жизненного пути» (стр. 6). «Это не значит, что только благодаря женщине и ее любви общественно-революционная деятельность с ее жертвами и мученичеством имеет для нас интерес и обаяние как средство привлечения ее любви»... Великолепное «это не значит, что только»... Не все революционеры, следовательно, эротоманы, или по крайней мере, не эротоманы последнего градуса.

Посмотрим, что делает герой рассказа, не «только благодаря женщине» решивший сделаться профессиональным революционером. Перед нами—петербургский студент, высланный на родину «до решения дела». А за границей слушает лекции «она». Ввиду того, что женщина и т. д., наш герой решает «бежать». Но, к несчастью, накануне побега получается бумага: герою разрешено вернуться в Петербург и продолжать высшее образование. План героического побега готов рухнуть, но герой и его товарищи решили, что «разрешением не стоит смущаться». Приняв столь смелое решение, герой «бежит»—с проходным свидетельством до Петербурга в кармане. Целую кучу народа тревожит он и подводит под риск ареста для того, чтобы перейти нелегально границу, но ведет себя так глупо, что его походя арестуют. Проходное свидетельство выручает. Наконец неудачный герой попадает в Петербург, получает заграничный паспорт и неудержимо летит за границу, делать революцию в объятиях «женщины, которая...»

Хотя услуга нам при нужде дорога,
Но за нее не всяк умеет взяться,—

чему хороший пример—автор рассказа «Из недавнего революционного движения».

О СБОРНИКЕ В. БАШКИНА [1]

Странное впечатление производит деление стихотворений на «гражданские мотивы» и «лирику». Но, ознакомившись со сборником В. Башкина, вы легко объясните себе эту странность: мотивы общественного характера не слиты в одно целое с личностью поэта, они составляют особый придаток, вызванный сознанием своей обязанности:

Помню, я давно здесь тоже утром
Поклялся служить меньшому брату (!?),
И теперь на память мне приходит

[1] В. Башкин, Стихотворения (Гражданские мотивы. Лирика.), книгоиздательство «Дело». Статья была напечатана в журнале «Образование» № 11 за 1907 г.

Этот миг счастливый и блаженный.
Повторить хочу я эту клятву
И сказать себе, что я все тот же.

Решившись «служить», хотя бы и «меньшому брату», поэт порывает с своими прежними песнями:

Тихих песен ласки молодой,
Прозвучавших в радостной надежде,
От меня не жди теперь, как прежде...
Песнь моя — призыв в неравный бой.

«Служит» поэт своими «призывами» довольно усердно, но нельзя сказать, чтобы очень успешно. Истрепавшиеся образы, избитые сравнения и декламация вместо чувства. Подъем общественного настроения—«черная туча», которая «растет, надвигаясь, грозна и могуча... Уж молнии блещет стрела, и грома зловещие слышны раскаты» (стр. 5). Подъем и упадок общественного настроения—движение волн:

С печальною волной по воле рока
Я поднимусь опять, когда проснется вал,
И выплыву наверх, свободно и высоко,
Чтобы разбиться вновь у неприступных скал.

Настроение автора в «злые дни» так же прозаично, как и его надежда «подняться опять»:

Пусть кругом звучат иные песни, —
Наш призыв не заглушить врагам:
Для свободы, родина, воскресни!
За свободу дай бороться нам!

Даже в лучших стихотворениях на «гражданские мотивы»,—в тех, которые по существу дела близко связаны с личностью автора,—уклонение в сторону общественных вопросов приводит поэта к прозе и общим местам. Он просит отъезжающего поклониться свободным странам—

От тоскующих равнин,
От борьбы, еще бесплодной,
С царством дикости и тьмы,
От нужды, пока голодной,
От цепей и от тюрьмы.

Там, где автор не заботится об исполнении клятвы служения меньшому брату, стих его звучит совсем иначе. Любящая, грустно-созерцательная натура,—В. Башкин в своей сфере становится наблюдательным и умеет передать настроение. Вот одно из таких стихотворений:

Зачем так грустно в безмолвном небе?
Зачем так тихо в саду усталом?
Не скажет месяц, не скажут звезды;
А если скажут, то верь, — обманут.

Ты помнишь вечер, такой же грустный,
Такой же тихий? В саду усталом
Вставали тени, ложились тени;
Прозрачной дымкой струился воздух.
И был ты счастлив, и был ты молод.
Рождались звуки и умирали,
И женский образ мелькал неясно...
Такой прекрасный, такой воздушный.
Ты помнишь вечер? Мечтали звезды.
Навстречу счастью летели думы.
Но было тихо в саду усталом,
И было тихо в безмолвном небе.

Недурны также «Возвращение», «Фея», «Златокудрая осень» и многие другие стихотворения. Кое-где заметна еще подражательность, стих и рифма не всегда безупречны,—эти недостатки, можно надеяться, нетрудно будет устранить В. Башкину. А главное, что ему нужно,—это разрешить себя от никому не нужного обязательства («клятвы»), быть самим собою, подниматься не тогда, «когда проснется вал», а когда потребует того собственная индивидуальность поэта, и быть смелее в проявлении этой индивидуальности. Тогда, может быть, и «гражданские мотивы» превратятся в «лирику», в поэтическое высказывание личности, связанной с обществом органическими узами.

О СЕРГЕЕ КРЕЧЕТОВЕ [1]

В противоположность В. Башкину, Сергей Кречетов не давал никаких клятв, не отказывался дать волю той или иной стороне своей индивидуальности. Он просто и смело прошел мимо волн кадильного дыма, «навстречу иным богам». Он не согласен поступиться собою даже за полцарства:

Но мне презрен твой дар случайный,
Не надо царского меча.
Кто ведал счастье высшей тайны,
Не будет братом палача.
И в дни томительной тревоги,
Когда немолчен зов минут,
В твои продажные чертоги
Мои мечты не притекут.

Поэт зовет «вперед, туда, где шум и крик, где блещут красные знамена». Но значение красных знамен он понимает довольно односторонне: они—символ восстания против тирана-личности, пята которого тяготила собою полмира; идеал борца—Брут: его воспоют народы «как факел огненного мщенья». И Сергей Кречетов

[1] Сергей Кречетов, Алая книга, книгоизд. «Гриф», М. 1907.—Настоящая статья была напечатана в журнале «Образование», № 12 за 1907 г.

весь горит мщением; против дракона он сковал за тайным горном гневно блещущую сталь:

Не страшится чар дракона
Тот властительный закал.
Там, где дремлет меч закона,
Судию сменит кинжал.
И когда горячей крови
Ширь полей вспоит во на,
Всколосись в зеленой нови,
Возрожденная страна!

Естественно, что судьба страны решается единоборством:

Тот, кто смеет, тот, кто может,
Пусть за всех умрет один.
Раб годами цепи гложет.
Миг — и сгинул властелин!

Отточенный клинок—

Всем уставшим, всем гонимым
Есть надежный талисман.
Властен он развеять дымом
Все, чем царствует тиран.

Но Сергею Кречетову мало возрожденья страны, мало дать надежный талисман уставшим и гонимым,—он пышет жаждой мести, он горит кровавым сладострастьем. Он летит к своему врагу:

Вот достиг, влетел, прильнул.
Пляшет в сердце алый хмель.
Хрип молчанье всколыхнул,
Смята ми,ная постель.
Смерти дрожь в людских чертах
Я читать давно привык.
Кровь и пена на губах,
Синий высунут язык...
Вот застыл. В зрачках — испуг.
Будет так он навсегда.
Спи спокойно, милый друг,
Спи до страшного суда.

В надежде, что предупрежденный читатель остережется навлечь на себя гнев страшного Сергея Кречетова, приглашаю его ознакомиться с той «высшей тайной», ради которой поэт доходит до любованья кровью и пеной на губах и синим высунутым языком врага. «Смело двинемся, братья»,—зовет наш поэт:

Любо мчаться вперед!
Там, за гранью заколдованной,
Весь объятый вечным сном,
Неподвижностью окованный,
Мертвый город мы найдем.
Меж немыми колоннадами
Там стоит забытый храм.
Бесконечными аркадами

Он восходит к небесам.
Полны дерзкого желания,
Смелым шумом голосов
Мы смутим покой молчания,
Тайну дремлющих веков.
И над каменной могилою
Тех, кто сгинули, как дым,
С неизведанною силою
Наше имя начертим.

Итти в мертвый город, в забытый храм—это уж выходит как будто, что автор, призывая итти вперед, ошибся направлением. И невольно является сомнение, не по ошибке ли он звал нас раньше под красные знамена. Любуясь высунутым синим языком врага, Сергей Кречетов вовсе непрочь поплакать при случае и над прахом «владыки» (короля):

Там (на скале) покой владыки мертвого
Не встревожит чуждый взор.
Только плещут волны гордые,
Моря царственный простор.
Пусть он спит на ложе каменном,
Крепко очи затворя,
И на латах красным пламенем
Стынет вечная заря.

Но ведь над прахом владык веет обыкновенно кадильным дымом, а Сергей Кречетов прошел мимо него, «навстречу иным богам». Как же быть? Вопрос решается просто. Когда наш поэт «выпьет кубок пенный и в нем увидит глубину», он пойдет под сумрачные своды,—

И, опустившись на колени,
Паду, усталый пилигрим,
На полустертые ступени,
Последним пламенем томим.
И все, что цепкой пеленою
Давно окутало меня,
Растает бледною волною,
Как тает воск в струях огня.
И внемля медленное пенье
И звон серебряных кадил,
Я буду вырван в то мгновенье
Из власти отошедших сил.
Разгонят красные лампады
Влиянья тягостного сна,
И тщетно будет вдоль ограды
Бродить безмолвный сатана.

Остается пожелать, чтобы Сергей Кречетов возможно скорее «увидел глубину»: тогда растают цепкой пеленою окутавшие его красные знамена, а пришедшие на смену знамен красные лампады разгонят «влиянья тягостного сна»: проснувшийся Сергей Кречетов найдет самого себя.

СТАТЬИ О ВЕРБИЦКОЙ И ПЕРЕПИСКА [1]

О Вербицкой [2]

Совсем юный студентик. Разговорились.

Говорили обо всем. Коснулись и беллетристики. К слову пришлось упомянуть Шеллера-Михайлова.

Кто из нас, стариков, не зачитывался им в давние годы? И кто, чуть подросши, не улыбался при этом имени?

«Сентиментальное прекраснодушие в мундире реализма»,—так определила Михайлова серьезная критика 70-х годов. И теперь у меня сорвалось определение в том же роде.

Милое личико студента разом потемнело.

— Да разве вы читали его?—спрашиваю с изумлением и пытаюсь смягчить отзыв.

Оказалось, студент читал. Больше чем читал: с Михайловым он провел лучшие минуты, Михайлов отвечал на его святые, задушевные думы.

Какая неожиданная долговечность,—скорее воскресение из мертвых! И какой поворот в настроении нового поколения! От вылощенного эстетизма, слитого с цинизмом,—к сентиментальному прекраснодушию. От жизненененавистничества и человеконенавистничества—к жизни, к любви, к нежной мягкости, которая нам, потертым жизнью, кажется порой слащавостью.

И все же это—поворот от животного к человеку.

Однако, не единичное ли явление—мой юный собеседник и его товарищи?..

Давно собирался прочесть «Ключи счастья». Нужно же было знать, против чего хочешь бороться. Достаточно отвратительна была литература Саниных, «Навьих чар», «Морской болезни», «Тьмы», «Честности с собой», «Купли», «Королевского парка» и т. п. [3]? До каких же геркулесовых столбов дошла г-жа Вербицкая, если ею зачитываются?

Читаю одну главу, вторую, третью... Что сей сон значит? Ту ли книгу мне дали? Разве имя Вербицкой не стало ругательным словом в устах присяжных критиков? Разве ее произведения не объявлены стоящими «вне литературы»?

Что такое литература? Если живо, увлекательно написанную

[1] Ниже мы печатаем дикуссию, поднявшуюся вокруг А. Вербицкой, ее письмо М. Ольминскому, письма А. Луначарского и С. Мицкевича и ответ М. Ольминского в журнале «На литературном посту», № 7—8 за 1926 год.

[2] Напечатано в газете «Звезда», № 27 от 29 октября 1911 г.

[3] То есть «литература» Арцыбашева, Ф. Сологуба, Леонида Андреева, Куприна, Винниченки и т. д.

книжку «для детей» или «для юношества» не считать литературой, то очевидно, и «вне литературы» есть хорошие книжки. Если Вербицкая стоит «вне литературы» регенатской эпохи и Вербицкой зачитываются, то ясно, что ренегатской эпохе приходит конец.

Вербицкая прекраснодушна,—литература ренегатской эпохи проповедует переход за «последнюю черту». Вербицкая сентиментальна,—литература ренегатской эпохи цинична и злобна. Вербицкая надевает мундир реализма,—литература ренегатской эпохи, ненавидя жизнь, ненавидела реализм.

Не ищите у Вербицкой глубины, понимания общественных задач, знания политических партий. У нее только настроения: настроение постичь глубину, понять общественность, познать политические задачи.

В литературе ренегатской эпохи царило злостное стремление развенчать деятелей светлых дней общественного подъема, оголить их, хамски издеваться над наготой тех, перед кем недавно трепетали в невольном почтении. У Вербицкой желание показать душу людей, стоящих выше пошлости и обыденщины.

Не ищите у Вербицкой ответа на проклятые вопросы. Она не умеет, она не в силах ответить. Но если вас заела пошлость животного себялюбия, и вдруг пробудится желание вновь увидеть себя молодым в лучшем смысле слова, посмотритесь в зеркало через роман Вербицкой: не теперешнюю освиневшую рожу увидите вы за стеклом, а свое былое, честное лицо...

Вы не раз зевнете там, где Вербицкая серьезна; не раз улыбнетесь там, где Вербицкая хочет быть трогательной. Вы посмеетесь над ее наивностью, но посмеетесь без вражды, потому что почувствуете в ней вашу собственную, честную, юную наивность. Если только, конечно, вы не прокляли лучших порывов собственной молодости.

Передо мной стояла загадкой молодежь прошлой зимы: зачитываются Вербицкой и идут на улицу в «толстовские» и другие дни. Ведь я верил тогда критикам, будто Вербицкая—«вне литературы»; я думал, что Вербицкая еще хуже, чем те беллетристы, что были кумирами ренегатской эпохи. «Ключи счастья» открыли мне глаза. Молодежь зачитывалась «Ключами счастья»—знаменательный поворот!

Вербицкая стихийна, как стихиен этот поворот; она бессознательна, как стихия. Не знает себя и молодежь, зачитывающаяся Вербицкой. Где правда? куда итти? что делать?—эти вопросы может быть еще и не ставятся молодежью сознательно, но уже и не отвергаются; она приближается к их постановке.

И поставит, и решит она их по-своему, по-новому, по-молодому. Тогда она поймет себя, и поймут ее те, кто не стал безнадежно «бывшим человеком», живым трупом...

О Вербицкой

Вопрос о писательнице Вербицкой и ее произведениях благодаря вмешательству высокоуважаемого т. Ольминского вызвал некоторый шум в нашей общественности, причем затронутым оказался и я. Я охотно подтверждаю, что как в те времена, когда против Вербицкой впервые был начат несправедливый поход, так и недавно, в полемике моей по поводу рассказов Романова, печатавшихся в ленинградских газетах, я высказывался в том смысле, что Вербицкую, писательницу, по внешней форме приятную и занимательную, по своим устремлениям инициативную и прогрессивную, хотя в идеологическом отношении наивную, зря представили в виде какого-то чудовища недозволенной литературы. Я и сейчас считаю, что для некоторых очень отсталых слоев провинциального читателя, так сказать для «епархиалок», чтение произведений Вербицкой было бы прогрессом и могло бы оставить в их душе светлый след. Из этого я, однако, отнюдь не делаю вывода, что произведения Вербицкой можно было бы сейчас в какой-либо мере рекомендовать. Они ушли в прошлое и для настоящего времени явились бы ненужным балластом. Другое дело—новые произведения Вербицкой, о которых она пишет в своем письме. Новые произведения потребуют и новых суждений, к которым наша критика и наша общественность должны приступить без всякой предвзятости.

А. Луначарский.

В защиту А. Вербицкой

Хочу, с своей стороны, добавить некоторые черты к ее общественно-политической характеристике. Я познакомился с ней в Твери в 1904 году, куда она приезжала из Москвы, чтобы выступить на литературно-музыкальном вечере в пользу студентов. Часть денег с этого вечера должна была пойти в пользу Тверского комитета нашей партии. Это знала А. А. Вербицкая, но это не только не удерживало ее от выступления на этом вечере, но наоборот, именно это ее и привлекало. В беседе со мной она высказала свои взгляды на партийную борьбу, шедшую тогда между большевиками, меньшевиками и эсерами. Она сказала, что больше всего она сочувствует большевикам за ту широту целей, которые ставят они в развертывающейся революции и за их решительность в революционной борьбе. Ее привлекал большевик как психологический тип революционера, и она мечтала отобразить его в литературе.

Работниц особенно увлекали картины борьбы за равноправие и освобождения женщин. Яркой поборницей этих идей всегда была А. А. Вербицкая, во всей своей литературной и общественной деятельности.

В 1905 году я жил в Москве и часто встречал А. А. Вербицкую. В это время она особенно охотно и активно помогала нашей партийной организации предоставлением своей квартиры для собраний, деньгами и т. п.

Во время московского вооруженного восстания она предоставила свою квартиру для собраний Московского комитета, что представляло тогда для нее большую опасность.

События 1905 года она отобразила в своем увлекательно написанном романе «Дух времени». В нем она с большой симпатией вывела ряд наших партийных товарищей. Думается, этот роман мог бы и теперь быть переиздан Госиздатом, а оказывается, он по какому-то странному недоразумению даже изъят из библиотек.

Встречался я с Вербицкой и в период мрачной реакции 1908—1910 гг., когда широкие слои интеллигенции отшатнулись от революции, и тогда она неизменно выражала свои симпатии к революционной работе.

Тогда кадетствующие и сменившие революционные «вехи» литераторы объявили ее «вне литературы».

Встречал я ее и в 1918 году, когда вся интеллигенция, ненавидя большевиков, шипела на них, а А. А. Вербицкая приветствовала нашу революцию и, уже тяжело больная, думала о том, как изобразить эту революцию в своих произведениях. Но тут удар за ударом обрушился на нее. Ее, старую писательницу, всегда мечтавшую о революции и по мере сил и своего понимания служившую ей в своей литературной и общественной работе, опять объявили вне литературы и стали изымать ее книги из библиотек и сжигать их.

Да, поистине, как книги, так и писатели, имеют свою судьбу, и судьбу не всегда справедливую.

Пора исправить эту несправедливость по отношению к А. А. Вербицкой.

С. И. Мицкевич

Письмо А. Вербицкой к М. Ольминскому

4 августа 1926 г.

Я—та самая Вербицкая, за которую вы когда-то так мужественно вступились. В 1911 году вашу рецензию в «Звезде» мне прислал В. Клестов, владевший складом «Земля», и в тот же вечер сказались результаты этой заметки. Мне позвонил Валентинов-Вольский, бывший секретарь в «Московской социал-демократической газете», издававшейся в 1905 году. «Какая прекрасная статья!—сказал он мне.—И как мы все виноваты! Простите ли вы это нам когда-нибудь?»

Купив теперь сборник ваших статей, я сразу узнала ее. Однако эта рецензия убедила меня, что вы совсем не знаете моего писательского лица. Вы как бы видели меня мельком, из окна вагона.

Я пишу с 1887 года и за эти 39 лет выпустила 33 книги, причем «Ключи счастья» далеко не лучшая. И если эта книга имела такой успех, то путь к нему проложили ей мои другие романы, особенно «Дух времени», который покойный Воровский решил переиздать. Изданный за границей в немецком переводе Ладыжниковым, он вызвал там целую литературу. В нем описано вооруженное восстание 1905 года, и немцы назвали эту книгу революционным романом. Русская критика, по обыкновению, не обратила на него никакого внимания.

У меня никогда не было «литературных друзей».

Успех мой был создан новым читателем, пришедшим в 90-х годах из низов и наполнившим все общественные библиотеки и читальни.

Анкеты этих читателей, разосланные по всем редакциям, и застали критику врасплох. Они не замечали меня, когда я печаталась в журналах. «Ключи счастья» были изданы мной лично (по величине роман не мог итти в журналах, как и «Дух времени»), поэтому я оказалась вне литературы (то есть вне журналов).

Относительно меня читатель шел своей дорогой. Критика простить этого, конечно, не могла. И вот с 1909 года началась бешеная грабля. Сказать по правде, меня мало огорчала эта ругань. Я понимала хорошо, что буржуазная пресса не могла не ругать меня. Как сказал Вахтеров, я слишком глубоко задела современников, критикуя их школу, семью, быт их и убеждения, всю их мещанскую мораль. Я открыто восстала против церковного брака и требовала для женщины права любить свободно. «Московские ведомости» настойчиво обвиняли меня в «социализме».

С 1896 по 1905 год я печаталась исключительно в марксистских журналах: «Жизнь», «Образование», «Начало», «Правда», за которыми следили с опаской, знали также, что за мой рассказ «Перед концом» («Вечеринка») апрельская книжка «Начала» была сожжена и самый журнал закрыт.

В 1919 году, в июле, в Совете рабочих депутатов, куда попали бывшие приказчики магазина Суворина и другие странные элементы, т. Луначарскому сделали коварный запрос: на каком основании Отдел снабжения (реквизировавший магазин Панафидиной, где был склад и моих изданий) покровительствует Вербицкой, продавая частным лицам ее сочинения? С этого дня и началась травля на меня в Советской России. Дошло до того, что в конце июля 1919 года Наркомпрос решил сжечь весь склад за порнографию, юдофобство и черносотенство. Я молчать уже не могла и написала в Наркомпрос заявление, что я требую над собой гласного суда: пусть мне докажут, в какой книге и на какой странице повинна я в возводимых на меня преступлениях. Я доказывала, что в журналах, где я печаталась, коллегами моими были Луначарский, М. Н. Покровский, Скворцов-Степанов, М. Горький и другие большевики. Заявление это всех смутило, так как из моих судей никто меня, в сущности, не читал, а судили меня понаслышке, всецело поверив клевете буржуазных газет. Я сама читала этот протокол.

Тогда Наркомпрос решил передать это дело на рассмотрение В. Воровского, слывшего знатоком литературы. Он же был и первым заведующим Госиздата.

И в эту критическую минуту у меня нашлось двое защитников. М. Горький, всегда прекрасно относившийся ко мне, возмутился таким отношением Наркомпроса и написал об этом Воровскому. В августе тот пригласил меня в Госиздат для переговоров. Принял он меня с чарующей добротой, удивился, что в XX веке хотят восстановить аутода-фе, приемы Савонаролы, и закончил так: «Успокойтесь. Мы существуем не для того, чтобы уничтожать книги, а тем более ваши».

Через неделю Воровский купил весь мой склад (150 000 экземпляров), затем избрал литературную комиссию из 12 литераторов-коммунистов, которые в течение трех месяцев перечитывали все мои 33 книги, 14 переводных изданий. Этого именно я и добивалась. В конце ноября т. Воровский позвонил мне и сказал: «Поздравляю с полной победой. Все книги признаны безвредными, а многие полезными. Их решено переиздать. При этом ни одна ваша книга не поступит в магазины для продажи частным лицам. Весь склад будет роздан по рабочим клубам и читальням».

Вы не можете себе представить, какое нравственное удовлетворение почувствовала я тогда. «Конечно,—наивно думала я,—все издевательства, вся клевета—это наследие буржуазной прессы. Об этом распоряжении Воровского узнают все коммунисты, ругавшие меня понаслышке, а молодое поколение рабочих, враждебно или насмешливо относящееся ко мне благодаря газетной травле, отнесется ко мне в конце концов с той же симпатией и интересом, с каким отнеслись ко мне рабочие перед 1905 годом».

И знаете, чем все это кончилось? Воровский уехал в Италию. Его место заняли сначала Вакс, затем Шмидт. Мои книги лежали в подвалах «Дрездена», никто не интересовался протоколами комиссии, наметившей, какие мои книги следует переиздать. Ушла из Госиздата и Берта Ильинична Иоффе, секретарь Воровского. Никто не считал себя обязанным исполнить волю его и раздать мои книги в рабочие клубы и читальни.

И вот конечный результат моей почти сорокалетней литературной деятельности. Пишу об этом со страшной горечью и тоской. Утешала себя тем, что это еще не худший исход. Мои книги купили люди,

которым имя мое было дорого. Если б эти книги попали в рабочие клубы, как этого желал покойный Воровский и я,—при обострившейся на меня в 1924 году травле мои сочинения были бы, конечно, изъяты из рабочих читален и теперь уж наверное были бы сожжены. И не нашлось бы в Советской России другого Воровского и Горького, чтобы очистить мое имя от клеветы. Воровский умер. С горечью я читала хвалебные статьи о его образованности, о его тонком понимании литературы.

Вы думаете, быть может, что на этом кончились мои злоключения? О, нет! В 1924 году поставили мое имя в список запрещенных писателей, изъяв мои книги из всех магазинов и библиотек. За что и почему—до сих пор не знаю. Частные издательства обратились ко мне. Когда же циркуляр стал известен в Москве и Ленинграде, никто из издателей не решился рисковать из-за запрещенного писателя.

Тогда я решила под псевдонимом писать рассказы и повести.

Любопытна история с т. Воронским. Повесть ему понравилась, но когда я открыла свое имя одному из его сотрудников, а тот сообщил это т. Воронскому, то он до смешного перепугался, и я взяла назад эту рукопись.

Теперь вы знаете все. Во всей этой печальной истории меня всегда удивляло, как это могло случиться, что коммунисты, с таким презрением отвергнувшие все наследие старого строя—его мораль, его предрассудки, его верования и т. д., могли так безоговорочно, с таким доверием отнестись к оценке и критике буржуазной прессы. Если я не угодила ей, было, значит, в моих книгах что-то несродное и враждебное мещанской морали. Почему никто не спросил себя: а нет ли тут ошибки?

Повторяю: если я с презрением читала когда-то все нападки буржуазных газет, то на ругань советской прессы в разных «Смехачах», «Безбожниках», в «Рабочей газете», и в «Вечерней Москве»—я теперь реагирую болезненно, ругань стала мне непереносимой, быть может, потому, что это уже следствие грудной жабы. А преодолеть болезнь не по силам мне. И не одни материальные лишения гнетут меня: мне больно, что теперь, когда строится новая жизнь и нарождается новая мораль, я лишена возможности активно принимать в ней участие как писательница.

А между тем у меня широкое поле для наблюдений. Я живу в доме рабочей коммуны, где 90% жильцов—типографские рабочие. Я изучаю новые типы мужчин и женщин, новый быт, и мне есть что сказать.

Наконец, допустим даже, что мои старые книги теперь представляют анахронизм, что они могли отражать только старый, дореволюционный быт. Но почему надо было включить меня в списки запрещенных? Разве я не живой человек, несмотря на мои болезни? Разве я не могу писать о современном строе? Зачем зажимать мне рот, когда у нас беспрепятственно печатаются даже раскаявшиеся сменовеховцы? Зачем лишать меня, писавшую почти сорок лет, единственного смысла моего существования и моей единственной радости?

Вы спросите меня, быть может, какая цель этого письма и моих жалоб на судьбу? Это не только желание обелить себя, высказавшись перед единственным человеком, пожелавшим отнестись ко мне справедливо, это—страстное стремление познакомить вас с лучшими из моих книг, показать вам мой настоящий писательский лик.

А жить осталось так мало, и так страстно хочется положить хоть один кирпич в фундамент здания новой жизни, которую я призывала еще с юности, о которой я мечтала в мрачные годы реакции и царизма. Эти мечты все отразились в моих книгах, и они привлекали ко мне читателя, как вы верно угадали в вашей статье.

А. Вербицкая

Нельзя не возразить т. А. Вербицкой по поводу утверждения, будто она оказалась «вне литературы» только потому, что издала некоторые свои романы помимо журналов, и будто критика не могла ей простить того, что читатель пошел своей дорогой. Причины были глубже...

Вспомним время, когда началась травля против А. Вербицкой: это был тот период, когда революция 1905 года была окончательно подавлена. Остались только кое-какие уступки для интеллигенции и для буржуазии: по первому требованию хозяев рабочих арестовывали, ссылали, а то и кучами расстреливали.

В то же время партийная интеллигенция всех направлений и партий стала оптом и в розницу переходить на сторону буржуазии. Большевистские издания были закрыты, а меньшевистский журнал «Современный мир» на свой лад подпевал буржуазии (редактором был Н. Иорданский, плехановец, а во время войны—патриот). Вот тогда-то и началась травля А. Вербицкой и в то же время бурный успех ее романа «Ключи счастья».

А наша партийная интеллигенция? По пальцам можно перечесть тех, кто в те годы не стали ренегатствовать. У меня врезалась в память одна встреча с бывшим товарищем, жившим все время в Петербурге (Ленинграде). Оказалось, что он не слыхал даже о «Звезде» и «Правде». Я не вытерпел и спросил:

— Ведь вы, кажется, были когда-то социал-демократом?

— Я и теперь социал-демократ,—ответил он.

В скобках замечу: этот товарищ с октября 1917 года и до сего дня занимает с честью ответственный пост.

А тогда, в ренегатский период, он питался только буржуазными газетами и пропитывался бессознательно буржуазным духом; отрыжку этого влияния буржуазных газет, несомненно, он не мог не сохранить и через девять лет ответственной работы на советской службе, будучи партийцем.

Вербицкая не была никогда партийной. Но она и не ренегатствовала, оставаясь верной своим неопределенно левым идеалам. Могла ли не травить ее буржуазная печать как своего непримиримейшего врага? Могла ли не относиться к ней враждебно ренегатствующая интеллигенция?

Стоит напомнить, какими беллетристами зачитывалась в то время интеллигенция и что сталось с этими авторами после 1917 года. Достаточно назвать белогвардейцев Куприна, Леонида Андреева, Винниченко. Нужно присоединить сюда Ф. Сологуба, к сожалению, не эмигрировавшего вслед за Куприным. О пакостнике Арцыбашеве не стоит и говорить.

Вся эта белогвардейщина,—ставшая ею еще задолго до 1917 года,—повидимому, читается и теперь. По крайней мере

Леонид Андреев попал уже в «классики», и его сочинения переизданы в 1926 году. А Вербицкая? Кого ни спросишь из товарищей, оказывается, что никто решительно не читал ее романов: поверили на слово буржуазной, преимущественно кадетской, печати. А если кто и читал, то стыдится этого, хотя зачитывается с увлечением. Если теперь сочинения Вербицкой подверглись запрету, то очевидно, что никто из запретителей не читал ее романов: поверили на слово кадетской «Речи» и «Русским ведомостям».

В 1911 году Вербицкая уже была настолько заплевана, что оказалась «вне литературы», в которой царили будущие белогвардейцы. И в тогдашней единственной большевистской газете «Звезда» я писал между прочим:

«Если Вербицкая стоит «вне литературы» ренегатской эпохи и ею зачитываются, то ясно, что ренегатской эпохе приходит конец».

В июньской книжке журнала «Пролетарская революция» т. А. Луначарский в целом подтверждает мою точку зрения на Вербицкую (стр. 235—236) и признает, что он еще в те времена, ничего не зная о моей статье, высказал сходную со мной точку зрения на публичном реферате в Женеве.

Не пора ли пересмотреть слишком поспешное решение «запретителей»? А еще более—подумать о том, что Вербицкая еще жива, еще может писать; что она стоит на советской точке зрения и никаким судом не присуждена к гражданской смерти,—кроме разве суда кадетской критики, вроде гр. Чуковского, которому у нас теперь поручается редактировать Н. А. Некрасова. По моим сведениям, К. Чуковский первый открыл травлю против Вербицкой в центральном органе кадетской партии—в газете «Речь». Это было сигналом,—и воспитанная на кадетских газетах публика продолжает травлю.

III. ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

СТАТЬИ О САЛТЫКОВЕ-ЩЕДРИНЕ

Культурные люди и нечистая совесть [1]

В последнее время много говорят о культурности и культурных людях.

Культурность, или культурное состояние,—это противоположность дикости и полудикости; это высшая форма жизни, и потому сама по себе вещь очень хорошая, к которой нужно стремиться. Но всякую хорошую вещь можно запакостить, исказить. И сейчас у нас слово «культурность» начинает пониматься в искаженном виде. То же, что лет сорок-пятьдесят назад.

Пятьдесят лет назад, около 1861 года, было время, которое многими считается эпохой пробуждения совести среди высших классов в России. Но скоро совесть оказалась не ко двору и заменилась проповедью «культурности»: явились «культурные люди». Чуткий писатель того времени, Щедрин, тотчас отметил это; он писал:

«Каким это образом русский культурный человек вдруг словно из земли вырос?.. И даже заслуги особенные выдумали, которые о культурности несомненно свидетельствуют: «Я, мол, из тарелки ем, а Иван мой—из плошки»... Глуп-глуп, а культурность свою очень тонко понимает. «У меня, говорит, в деревне и зальце в домике есть, и палисадничек, и посуда, и серебрецо, и сплю я на матраце, а не на войлоке,—сейчас видно, что культурный человек живет. А мужик—что! Намеднись у нас на селе у крестьянина мальчику тараканы нос выели, а у меня, брат, тараканы только на кухне живут!».

В эпохи общественного подъема, как известно, ценятся в человеке такие качества, как ум, способность, знание, умение, честность, солидарность, человечность, самоотверженность,—вообще

[1] Статья напечатана в газете «Правда», № 98 от 23 августа 1912 г.

По поводу этой статьи Ленин писал тогда же в редакцию «Правды»: «Называю ее замечательно удачной». Чрезвычайно кстати взята тема и разработана в краткой, но ясной форме превосходно». И далее говорит: «Хорошо бы вообще от времени до времени вспоминать, цитировать и растолковывать в «Правде» Щедрина и других пи ателей «старой» народнической домократии... Получилось бы освещение теперешних вопросов рабочей демократии с иной стороны, иным голосом». («Из эпохи «Звезды и «Правды», вып. 3, изд. Истпарта, 1924.)

все то, что возвышает человека. Это и есть культурность в лучшем смысле слова.

Но теперь, при упадке, на место истинной культурности буржуазная интеллигенция подставляет буржуазную сытость. Возвышающие человека качества оказываются не нужны ей. И на теперешней «культурности» объединяются глупый и умный, честный и негодяй, бывший борец и предатель, бывшие левые и черносотенцы: были бы только деньги на сытую жизнь, да чтобы есть вкусно, спать мягко, а вечер проводить в «культурных» увеселительных местах,—как и на то,

Чтобы рожать детей,—
Кому ума недоставало?

Цепляясь за такую культурность, интеллигент быстро лезет в гору по части приобретения денег и в то же время по части продажи своего времени, своей интеллигентности, своей совести. Про таких «культурных людей» Щедрин писал:

«Сегодня—приятель, а завтра разрешил ему Солитер (генерал) за каблук своего сапога подержаться—он уж от вчерашних друзей рыло воротит».

Чтобы вести «культурную жизнь» в буржуазном обществе, нужно или самому быть эксплоататором, или держаться за каблук самого крупного эксплоататора. Для совести это положение незавидное; вот и приходится оправдываться, обманывать себя и других: дескать, не ради низкой цели держусь за каблук сапога Солитера, а ради «культуры», потому что я «культурный человек».

Вот почему в настоящее время, если слышишь, как интеллигент начинает кичиться культурой или фыркает на некультурность рабочих и крестьян, то знайте: этот человек или уже совершил измену, или замыслил ее в сердце своем и готов продаться за сытую жизнь.

А рабочим совсем не к лицу повторять эти лицемерные речи о культуре людей с нечистой совестью; их дело—думать о сознательности и солидарности. Тогда придет к ним сама собой истинная культура.

Салтыков-Щедрин [1]

Воспитанный на широких философских идеях, которыми мучились так называемые «люди сороковых годов», Щедрин с самого начала страдал от сознания оторванности этих идеалов от действительности. Понятно, что первый проблеск общественного подъема в конце 50-х годов сильнее всего ударил Щедрина именно по этому больному месту. Для него настала пора связать широкие идеи с фактами жизни.

[1] Напечатано в журнале «Просвещение», № 5 за 1914 г.

Был момент, когда Щедрин стал на ложный путь: падение крепостного права он приписал «великодушию сильной воли». Если источником обновления является эта «сильная воля», повелевающая из Петербурга, то сторонникам обновления остается быть только исполнительными чиновниками. И Щедрин делает попытку изобразить положительный русский тип в лице чиновника Шалимова. Впоследствии Щедрин с грустью вспомнил об этом кратковременном периоде своего увлечения «великодушием сильной воли».

В «Сатирах в прозе» Щедрин с усиленной страстностью ищет той народной массы, заодно с которой он мог бы итти, то есть массы, проникнутой сознанием своих общих интересов и готовой на борьбу за эти интересы. А глубоко демократическая основа его миросозерцания толкала Щедрина к изучению духовного облика крестьянской массы (в «Письмах из провинции»). Он указывает на зависимость сознательности от степени благосостояния (но не от форм хозяйства,—в этом была ошибка); он приходит почти в отчаяние от неподатливости крестьянской массы, от ее невосприимчивости к новым идеям; и все-таки он в конце концов признает, что вне единения с массой нет спасения.

А с другой стороны, для Щедрина нет спасения вне борьбы за идеалы. В этой борьбе—весь смысл жизни, вся цель щедринской литературной деятельности. «Воспитывайте в себе идеалы будущего, не давайте окаменеть сердцам вашим, оглядывайтесь часто и пристально в светящиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего»,—писал Щедрин.

Демократизм настроения, стремление к массе, с одной стороны, и необходимость борьбы за идеалы—с другой,—вот два момента, определяющие творчество Щедрина и являющиеся основой его отрицательного отношения к явлениям текущей жизни. Этой основой определяется и отношение к Щедрину со стороны различных слоев читателей.

Искренно могут ценить Щедрина только те слои читателей, которые сами способны к борьбе за идеалы, за наилучшее и самое совершенное будущее устройство общества. Какие же это слои?

Общества и классы, находящиеся в процессе роста или завоевания себе положения, обращают главное внимание на мысленное расширение рамок жизни земной. Человек сливает свои интересы с интересами всей группы, борется за интересы группы, живет ими, жертвует собою за их торжество. Напротив, члены общества или классов, изживших период своего роста, безнадежно смотрят на будущее; лишенные утешения продолжить свою жизнь в жизни группы, они создают себе фантазии о существовании сверхестественного.

В новой истории, в период капиталистического развития, классы первой категории проникаются горячей верой в земные идеалы, классы второй категории ищут утешения в воскрешении полу-

истлевших наивных верований в загробную жизнь или в идеалистической философии.

С тех пор, как стали выясняться противоречия капиталистического строя, все резче и резче бросается в глаза тот факт, что единственным искренним носителем земных идеалов, единственным борцом за них может быть только пролетариат. Буржуазия не может уже подвергать беспрепетному и беспощадному анализу сущность строя, дающего ей господство и благоденствие. Она закрывает поневоле глаза на тенденцию развития производительных сил и на неизбежные результаты этого развития. Для нее будущее мрачно и уныло. Еще меньше хорошего сулит оно мелкому производителю, не желающему расстаться с мечтой о восстановлении гибнущего хозяйства. Только пролетариат с горячим упованием взирает на будущее, только он один является классом-идеалистом, обходящимся и без средневековых суеверий, и без идеалистической философии.

Анализ тенденций общественного развития мало того, что наполняет сердце пролетария горячей верой в победу над этим проклятым миром насилия и эксплоатации,—он дает удовлетворение естественному стремлению от несовершенного к совершенному, он обнадеживает разрешением мучительных противоречий общественной жизни. Разрешение противоречий общественного производства грозит гибелью эксплоататорским классам,—они вынуждены искать совершенства за пределами земной жизни, в лучшем случае—в эмпиреях идеалистической философии.

Характерно, что и у нас, в России, как везде, идеологи буржуазии из кожи лезут, чтобы затуманить головы идеалистической философией. Перебежчики из социал-демократии начинают именно с того, что объявляют войну борьбе за земные идеалы и пытаются воскресить или даже выдумать неземные силы (вспомним недавнее богостроительство, богоискательство и прочие попытки ренегатствующей интеллигенции в России).

Борьба за идеалы в наше время—удел единственно пролетариата и его идеологов. Тем самым приходится признать и обратное: человек, ставящий в своей жизни на первом плане борьбу за идеалы, является в силу этого пролетарским идеологом именно постольку, поскольку в его жизни (или в его произведениях, если это писатель) выдвигается на первое место требование борьбы за земные идеалы. (...)

Битва расширяется во времени, вырастает до размеров интернациональной солидарности борющихся всех наций. Нужен план кампании, нужно ясное представление о результатах конечной победы. План кампании определяется изучением процесса развития. Результаты конечной победы великой битвы намечаются лишь в самых общих положениях: деталей нельзя предвидеть. Но общие положения достаточно ясны, чтобы дать руководящую нить, чтобы

блистать в сознании ярким маяком далекой пристани. Только имея перед глазами этот маяк конечной цели, вы не превращаете движение в бесплодную сутолоку.

Люди того класса, который боится глядеть в будущее, назовут вашу цель утопией,—не бойтесь слов! Лишь бы ваша «утопия» была плодом добросовестного и беспристрастного изучения тенденции развития производственных сил,—можете быть уверены, что в конце концов беспочвенными утопистами окажутся именно ваши трезвые противники, лавирующие, изворачивающиеся, то прячущие голову в песок, как страус, то пытающиеся взлететь в неземную высь на куриных крыльях буржуазной ограниченности!

Лет двадцать тому назад, когда русский марксизм только что появился из подполья, на марксистов обрушились упреки в том, что они отказываются от идейного наследства предыдущих поколений русских борцов за идеалы. Марксистам пришлось отписываться, пришлось выяснять, «от какого наследства мы отказываемся» (Ленин) и «какое наследство мы принимаем» (Потресов). Обвинения против марксистов оказались облыжными. И выясняя литературную физиономию Щедрина, приходится сказать, что огромную долю щедринского литературного наследства с удовольствием принимают нынешние идеологи пролетариата.

Щедрин ценен для нас постольку, поскольку он звал к борьбе за земные идеалы, а этот призыв—основной мотив всех произведений Щедрина. Пусть люди умирающих классов называют всякие идеалы утопиями,—Щедрин не боится страшных слов. Утопии, так утопии! Нужно только условиться относительно свойства приемлемых нами утопий. Щедрин предъявляет к утопиям два ограничительных требования. Всякая утопия—нелепость в том случае, если не может указать, к а к и м о б р а з о м нужно вести человека к его будущим судьбам. Это—во-первых. Выражение «нужно вести» для нас, правда, неприемлемо; нужно только заметить, что и сам Щедрин недолго оставался на точке зрения «ведения». Позже, вводя второе ограничительное требование, Щедрин говорит: «Ошибка утопистов заключалась в том, что они, так сказать, усчитывали будущее, уснащая его мельчайшими подробностями. Стоя почти исключительно на почве психологической, они думали, что человек сам собой, независимо от внешней природы и ее тайн, при помощи одной доброй воли, может создать свое благополучие». Тем не менее идея освобождения жизни от мелочей «продолжает волновать мыслящие умы. Но к ней прибавилась и еще бесспорная истина, что жизнь не может и не должна оставаться неподвижной» («Мелочи жизни»). Наш читатель без труда заметит, насколько удаляется уже Щедрин от царившей в его время теории «критически мыслящей личности», по своему произволу перестраивающей общественные отношения. Естественно, что современники Щедрина обвиняли его в битье по своим или защищали (защита эта не лучше обви-

нения), уверяя, что муза Щедрина очень редко (!) выбивалась из-под «контроля сознания».

Приняв приведенные выше ограничения, Щедрин горячо и страстно отстаивает законность «утопий». Как ни восставайте против утопий, без них истинно плодотворная работа мысли невозможна. «Утопизм» пугает только улицу. Изменяемость общественных форм предрекает человеческому творчеству обширное будущее. Щедрин никогда не терял веры в будущее. В самый мрачный период восьмидесятых годов громко раздавался его голос, его защита утопий и «бредней». Человеческое никогда окончательно не погибало,—говорил в это время Щедрин,—и не погибнет! Чтобы оно восторжествовало, необходимо только одно: понять, что гиенство вовсе не обладает волшебными чарами. Когда произойдет просветление, не будет надобности в приручении гиенства: зачем? Оно все равно не перестанет смердить, да и возни с приручением много!..

И вот за необходимость этого-то просветления, за сознательность в сфере общественной всю жизнь ратует Щедрин. Истинная сознательность невозможна иначе, как в виде представления о конечном идеале, к выяснению и осуществлению которого должны быть направлены все усилия. Подводя в «Пошехонской старине» итоги всей своей литературной деятельности, Щедрин справедливо говорит: «Не погрязайте в подробностях настоящего,—говорил и писал я,—но воспитывайте в себе идеалы будущего, ибо это своего рода солнечные лучи, без животворящего действия которых земной мир обратился бы в камень. Не давайте окаменеть и сердцам вашим! Вглядывайтесь часто и пристально в светящиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего. Только недальнозорким умам эти точки кажутся беспочвенными и оторванными от действительности... Что такое жизнь, лишенная идеалов? Это совокупность развращающих мелочей—и только!»

Это и есть та формулировка основного мотива произведений Щедрина, которую приходится признать единственно правильной. Приняв ее за исходный пункт, мы легко найдем прямой путь к целостному освещению литературной физиономии сатирика,—всего, когда-либо написанного им. Чтобы развить в читателях идеальные стремления, Щедрин прежде всего и больше всего анализирует пагубную роль бессознательности, затем ее разновидностей: самодовольной ограниченности, пошлости, обыденности и привычки.

Но полным отсутствием сознательности не ограничиваются помехи плодотворной сознательной деятельности. Пробудившееся сознание может пойти по ложному практическому пути и остаться бесплодным. Поэтому Щедрин беспощадно обрушивается на всякое увлечение подробностями и мелочами, на сужение задач и уступки. Он не находит достаточно сильных слов, чтобы заклеймить глубо-

чайшим презрением людей компромисса,—оппортунистов всех сортов. Не менее сильно клеймит он практическую повадливость, трусость, воображаемое благоразумие.

Посредине между бессознательностью и искаженной сознательностью стоят бессознательное лицемерие и бессознательное лганье. Это специально щедринские определения: в обыденной жизни лганье всегда предполагается сознательным,—иначе это просто ошибка или незнание.

Но Щедрин верно подметил, что люди часто не хотят знать правды: они намеренно уклоняются от истины и прячутся за старыми словами, потерявшими смысл. Бессознательные лгуны искренни, потому что верят (или думают, что верят) в то, что говорят; но в то же время это—лгуны, потому что они боятся думать, им невыгодно итти в выводах до конца.

Несомненно, что человек, ставивший целью своей жизни выяснить необходимость прямой и последовательной борьбы за идеалы, не мог сам не обладать таковыми. Несомненно, что он не щадил тех форм общественности, которые считал уже отжившими. Но несомненно также, что критика отживших общественных форм имела у Щедрина в основе своей не столько противопоставление старым формам новых, сколько идею необходимости борьбы за новые формы. Вот почему произведения Щедрина гораздо глубже и долговечнее всяких произведений, имеющих целью определенную борьбу за конкретные требования. Самое существенное и самое ценное в Щедрине—защита самого принципа борьбы за идеалы, выяснение необходимости такой борьбы. И пока борьба за идеалы не потеряет значения в жизни человека, до тех пор не потеряют жизни сочинения Щедрина. Все временное, местное и случайное, что поглощало исключительное внимание современников, будет получать все более значение простых аксессуаров,—и все выпуклее будет с каждым новым поколением вырисовываться основная идея.

Борьба за самые отдаленные, самые светлые, самые совершенные идеалы! (...)

Никаких уступок, никаких компромиссов! Бесполезно убеждать теоретиков обуздания! Никакой поблажки гиенству, никакой попытки приручить его! Своей определенной дорогой идите в страну идеала, исследуя, взвешивая, но не уступая и не отступая! Никаких отклонений от своего пути, ни ради «осязательных результатов», ни во имя достижения частичных целей и мнимого укрепления позиций! Вперед, вперед и вперед!..

Если таковы принципы, красной нитью проходящие через все произведения Щедрина (а эти принципы именно таковы), то понятным становится, как близок, как дорог и современен должен быть Щедрин тем из нас, кто живо и страстно проникнут идеалами пролетариата,—единственно возможного в наше время борца за идеалы. (...)

Правда, у нас есть свои признанные учителя, которые дают более конкретные указания на формы и способы принципиально выдержанной борьбы за пролетарские идеалы. Маркс, Энгельс и другие учителя международного научного социализма вскрыли формы классовых противоречий с такой полнотой и точностью, какие были недоступны Щедрину. Кроме того, Щедрин прежде всего художник. Не дело художника давать прямые советы и указания. Его область—главным образом область исследования тех психологических надстроек, которые не определяют, правда, форм классовой борьбы, но зато одухотворяют, облекают плотью и кровью личность, через которую требования классовой борьбы получают свое осуществление.

Психологическое исследование, облеченное в художественную форму, формирует личность, определяет характер ее деятельности. Формирование принципиально выдержанной, устойчивой личности неуклонного борца за идеалы предохранит тактику партии рабочего класса от тех уклонений и искажений, которые легко возможны в отдельные моменты под влиянием сложности и запутанности общественных отношений. Сочинения Щедрина могут и должны сыграть не последнюю роль в деле такого формирования личности.

Салтыков-Щедрин [1]

В этом году, 28 апреля, исполнится двадцать пять лет со дня смерти Михаила Евграфовича Салтыкова, известного в литературе под именем Николая Щедрина.

Щедрин не был пролетарским писателем: он умер в 1889 году, когда движение сознательного пролетариата едва зарождалось. Но из числа непролетарских писателей Щедрин принадлежит к тем немногим, память о которых будет дорога и священна для всех сознательных рабочих, как дорога для них память о Белинском, Добролюбове, Некрасове, Глебе Успенском.

Родился Щедрин в 1826 году, в семье богатого тверского помещика, при крепостном праве. Но из родного дома вынес он глубочайшую и непримиримую ненависть к крепостничеству и горячую любовь к угнетенным, забитым крестьянам и дворовым.

Воспитывался Щедрин, как сын богатого дворянина, в одном из тех учебных заведений, в которых богатые дворянские сынки специально подготовлялись к быстрой чиновничьей карьере и к занятию высших государственных должностей. Но из этого учебного заведения Щедрин вынес самое отрицательное отношение к дворянской молодежи, призванной править российским государством.

Поступив по окончании курса в министерство на службу,

[1] Напечатано в газете «Путь правды», № 60 от 13 апреля 1914 г.

Щедрин вместо быстрой чиновничьей карьеры сделал быстрое путешествие в Вятку под надзор полиции.

Ссылка для Щедрина была не совсем похожа на теперешнюю: в виде наказания он был назначен советником вятского губернского правления, то есть стал одним из высших губернских чиновников. Но из этой должности он вынес отрицательное отношение к высшей губернской администрации и сочувствие к мелкому, приниженному чиновнику и ко всей городской и деревенской бедноте.

После Вятки Щедрин еще некоторое время служил управляющим казенной палаты и вице-губернатором. Но затем бросил всякую службу, чтобы целиком отдаться литературе. Вместе с Некрасовым он стал во главе редакции самого лучшего журнала 70-х годов—«Отечественных записок».

В апреле 1884 года «Отечественные записки» закрыты за вредное направление. Щедрин остался не у дел. Он был уже в это время стариком с сильно надломленным здоровьем. Около пяти лет еще мыкался он по разным журналам и очень тяготился тем, что приходится работать в «чужом месте». А 28 апреля 1889 года он скончался от мучительной болезни, на 64-м году жизни.

Похоронен Щедрин в Петербурге, на Волковом кладбище, как раз возле третьей церкви от входа с Расстанной улицы, рядом с Тургеневым. На памятнике—бюст Щедрина. Сознательные петербургские рабочие должны знать и будут знать дорогу к этой славной могиле неутомимого защитника народных прав, десятки лет боровшегося не только против крепостничества, насилия, произвола и эксплоатации высших кругов, но и против забитости, несознательности и недостаточной солидарности самих угнетенных.

Щедрин больше всего известен как писатель-сатирик: он едко, зло и беспощадно осмеивал и помещиков-крепостников, и чиновников, и нарождавшуюся в его время буржуазию. На самом же деле Щедрин ценен не только своим смехом, но и правдивым, серьезным описанием жизни всех слоев населения, начиная от времен крепостного права и кончая восьмидесятыми годами минувшего века.

И еще более ценен Щедрин, если поставить вопрос: с какой целью описывал и с какой точки зрения рассматривал Щедрин все явления русской жизни?

Нужно иметь в виду, что Щедрин был не только беллетристом, но и публицистом: в его сочинениях постоянно беллетристика перемешана с публицистикой. И вот, рассматривая вместе и публицистику и беллетристику Щедрина, ясно видишь, что автор целиком стоит на страже интересов самых обездоленных слоев населения, и главным образом, на страже интересов крестьянства.

О пролетариате в те времена мало еще думала даже самая передовая интеллигенция. Сам о себе пролетариат не заявлял. И черносотенцы и либералы того времени постоянно высказывали радость, что в России будто бы нет пролетариата, и что поэтому у нас имущим классам не грозит рабочее движение, а крестьянин будто бы обеспечен и земельным наделом и усадебной собственностью. По этому поводу Щедрин возражал:

«Да, пролетариата нет; но загляните в деревни, даже подстоличные, и вы увидите сплошные массы людей, для которых, например, вопрос о лишней полукопейке на фунт соли составляет предмет мучительнейших дум, и для которых даже не существует вовсе вопроса о материальных удобствах; вы найдете тысячи бесприютных бобылок, весь годовой бюджет которых заключается в 15—20 рублях, с трудом вырабатываемых мотанием бумаги. А пролетариата нет!»

Позже Щедрин вновь возвращался к вопросу о капитализме и пролетариате. Он задевал и народников, когда писал:

«И еще говорят: в России не может быть пролетариата, ибо у нас каждый бедняк есть член общины и наделен участком земли. Но при этом забывают мещан и дворовых. «Вместо того, чтобы уверять еще, что вопрос о распределении уже разрешен нами на практике, мне кажется, приличнее было бы взглянуть в глаза Колупаевым и Разуваемым (то есть деревенским кулакам и мироедам) и разоблачить детали того кровопийственного процесса, которому они предаются... А то выдумали... мы, того гляди, политическую экономию совсем упраздним. Так и упразднили... упразднители!»

Щедрин вовсе не разделял надежд народников на общину; он высказывался против насильственного разрушения общины, но в то же время писал, что община «не только не защищает деревенского мужика от внешних и внутренних неурядиц, но сковывает его по рукам и ногам. Она не дает простора ни личному труду, ни личной инициативе, губит в самом зародыше всякое проявление самостоятельности и в заключение отдает в кабалу или выгоняет на улицу слабых, не успевших заручиться благорасположением мироеда. Было время, когда надеялись, что община обеспечит хоть кусок хлеба слабому члену, но нынче и эти надежды рассеялись. Оставленные наделы, покинутые и заколоченные избы достаточно свидетельствуют о сладостях деревенской жизни. Куда девались обитатели этих опустелых изб?»

Как видите, вопрос о пролетариате вновь и вновь поднимался Щедриным в то время, когда еще и социал-демократия в России не народилась. Народники в те времена доказывали, что в России невозможен капитализм («упразднили политическую экономию»), а Щедрин мучительно думал над вопросом: где же та народная

масса, которая смогла бы солидарно выступить в защиту своих интересов?—и как бы намечал ответ:

«Сдается, что придется еще пережить эпоху чумазовского торжества («чумазыми» Щедрин называл нарождающуюся буржуазию, преимущественно деревенскую), чтобы понять всю глубину обступившего массы злосчастия. А что чумазый будет держаться за свое торжество упорно—за это ручаются его откровенно-нахальные замашки и самоуверенная бессовестность».

Как видим, хотя Щедрин состоял в редакции народнического журнала, его никак нельзя назвать народником. Еще меньше можно считать его либералом. Редко кто, кажется, издевался так беспощадно над либералами, как Щедрин. Это издевательство вызывалось различием во взглядах на способы борьбы за освобождение или, как, может быть, сказали бы в наше время, разногласием в вопросах тактики.

Вопрос об этих разногласиях и об отношении Щедрина к либералам возможно выяснить только в связи с выяснением взглядов Щедрина на роль общественных идеалов и на способ проведения их в жизнь. Эти взгляды мы постараемся выяснить в следующей статье.

Еще о Салтыкове-Щедрине

Михаил Евграфович Салтыков, больше известный под своим литературным именем Н. Щедрина, родился в 1826 году, умер в 1889 году.

Он был родом из богатой дворянской, помещичьей семьи и вырос при крепостном праве. И он с величайшей ненавистью относился к крепостному праву и с большим презрением к дворянству.

Перед ним была широко открыта дорога для бюрократической карьеры. Около двадцати лет провел он в чиновничьих должностях и получил полное отвращение к чиновничеству, особенно к высшему.

Имея около сорока лет от роду, М. Е. Салтыков бросил казенную службу и целиком отдался литературной деятельности. В литературе он быстро обратил на себя внимание, а затем скоро сделался самым ярким, самым популярным писателем своего времени.

М. Е. был крупным художником. Но больше он был, по своему темпераменту и всему складу ума, боевым публицистом.

И как беллетрист, и как публицист, Н. Щедрин отличался тем, что ставил все вопросы очень широко и ни перед чем не останавливался в своей критике.

Выступил он тогда, когда о марксизме мало знали, и никогда не был марксистом. Но он воспринял учение социалистов-утопистов, предшественников марксизма, и воспринял в духе, близком марксизму. Именно, он прежде всего проникся беспощадно крити-

ческим отношением ко всякому господству и угнетению. А затем—он отвел первое место борьбе за лучшее будущее, за идеалы наилучшего общественного строя. И он, подобно марксистам, отрицал пользу строить подробные планы будущего устройства, так как подробностей будущего нельзя предвидеть.

«Ошибка утопистов,—говорил Щедрин,—заключалась в том, что они, так сказать, усчитывали будущее, уснащая его мельчайшими подробностями».

Однако, «как ни восставайте против так называемых утопий, без них истинно плодотворная умственная жизнь все-таки невозможна». Пусть ругают утопистов,—все же «идея новых оснований для новой жизни... продолжает волновать мыслящие умы». Идет какая-то знаменательная внутренняя работа, народились новые подземные ключи.

И во имя нового идеала Щедрин всю жизнь призывал не погружаться в текущие мелочи, а прежде всего—вырабатывать идеалы будущего.

Подводя итоги своей деятельности незадолго до смерти, Щедрин писал:

«Не погрязайте в подробностях настоящего,—говорил и писал я,—но воспитывайте в себе идеалы будущего, ибо—это солнечные лучи, без оживотворяющего действия которых земной мир обратился бы в камень... Что такое жизнь, лишенная идеалов? Это совокупность развращающих мелочей—и только!».

И через все художественные произведения Щедрина красной нитью проходит это требование руководиться в жизни определенными идеалами.

Только та жизнь достойна названия осмысленной человеческой жизни, которая вся посвящена выработке идеалов и борьбе за идеалы. В этой борьбе нельзя допускать никаких уступок, никаких компромиссов,—никакого соглашательства, как сказали бы мы теперь.

«Люди, деятельность которых основана на уступках и нравственном сводничестве, не уважаются»,—писал Щедрин сорок лет тому назад, как бы предвидя печальную участь нынешних меньшевиков и эсеров.

Когда либералы провозгласили лозунг: «Наше время—не время широких задач», Щедрин долго не мог успокоиться и не раз возвращался к этой попытке сузить задачи, или, как теперь говорится, «выставить частичные требования». Он говорил, что таким лозунгом все сказано: тут и скудоумие, тут и распутство, и желание сказать нечто приятное.

И в другой раз: разве это не довольно погано? Растолкуй, что это такое: отупелость, подвиливание или просто глупость?

Одно из действующих лиц Щедрина, литератор Крамольников, говорит в минуту раскаяния: «Я... удовлетворялся словами: подо-

ждите, погодите! Я... повторял: наше время—не время широких задач... Я был малодушен! Мало того, я был постыден! Я изменил большим убеждениям и примирился с малыми: это нечестно! Вместо того чтобы итти широким, вольным путем, я предпочел окольные тропинки; вместо того чтобы выступить на торжище жизни воротами, я удовольствовался заглядыванием в щелку... Как раб! Я думал, что это знаменует мудрость, а на поверку вышло, что это была громадная, непоправимая глупость. Я был не только постыден, но и глуп, глуп,—это больнее всего!»

Всякое соглашательство Щедрин клеймил, как блудливость, или называл повадливостью:

«Вот это-то я и называю блудливостью: человек говорит о преуспеянии, а сам лезет прямой дорогой в навоз—что, мол, делать! без компромиссов нельзя!»

Преднамеренная повадливость граничит с предательством и вероломством; а повадливость по легкомыслию состоит «не столько в деятельном распутстве, сколько в его укрывательстве: это—нравственная неустойчивость, вносящая в жизнь дряблость и легкомыслие». Людей, склонных к повадливости, Щедрин называл «складными душами» и указывал, что об их деятельности «нельзя говорить без чувства гадливости».

С такой непримиримостью по отношению к дворянскому и капиталистическому господству, с беспощадным ножом критики во имя самых широких идеалов подходил Щедрин к описанию различных явлений русской жизни.

Он начал писать еще во времена крепостного права, и последняя его работа была также посвящена всестороннему описанию жизни в помещичьей усадьбе при крепостном праве. И если вы хотите ознакомиться с действительной жизнью той эпохи, то вместо всяких исторических сочинений начинайте с чтения «Пошехонской старины» Щедрина.

И что вам скоро бросится в глаза при этом чтении—это совершенно различное отношение автора к угнетателям и угнетенным, к дворянству и закрепощенным крестьянам.

А среди крепостных Щедрин особенно любовное внимание уделяет наиболее обездоленным, так называемым «дворовым», которые в 1861 году не получили земли и стали пролетариями. Всякий рабочий, интересующийся историческим бытом своего класса, должен быть знаком особенно с теми главами «Пошехонской старины», в которых рассказывается о будущих пролетариях,—о дворовых («Аннушка», «Мавруша-новоторка», «Ванька-Каин», «Конон», «Бессчастная Матренка», «Сатир-скиталец»).

В других своих сочинениях Щедрин также нередко говорит о рабочих (например: «Портной Гришка»—в «Мелочах жизни», «Путем-дорогой»—в «Сказках» и т. п.). Но рабочее движение в те времена было еще слабо, фабрично-заводского рабочего Щедрин

не знал, и пролетарий являлся перед ним не как борец и будущий победитель, а лишь как человек, наиболее обездоленный и притом почти слившийся с беднейшим крестьянством.

О крестьянской бедноте Щедрин говорит много и часто, и обычно с большой любовью. Однако в этой любви нет никакой слащавости и сентиментальности. И часто в словах Щедрина звучит чувство горечи, когда он описывает недостаток сознательности и солидарности среди крестьян, их чрезмерную трусливость и покорность перед властью, перед помещиком и купцом.

Непомерный труд крестьянина вызвал к себе, конечно, глубокое сочувствие Щедрина. И он, как художник, чувствовал потребность опоэтизировать этот труд. Но кроме труда Щедрин требовал от человека еще и других качеств, которых не находил в крестьянине: готовности к сознательной борьбе за лучшее будущее, интереса к способам и целям этой борьбы.

Когда Щедрин взялся за описание жизни «хозяйственного мужичка», то этот мужичок вышел не очень-то привлекательным, и автор заканчивает свой рассказ вопросом:

«С какой стороны подойти к этому разумному мужику? Каким образом уверить его, что не о хлебе едином жив бывает человек?»

Безысходный, хотя бы и добровольный, труд маленького хозяйчика убивает в нем человека. И чтобы опоэтизировать труд, Щедрину, при его взгляде на вещи, пришлось взять не самостоятельного хозяйчика, а его подневольного конягу. Сказка «Коняга» не может читаться без волнения.

Трудность «подойти» к крестьянину, уверить его, что нужно смотреть на мир шире, думать не только о своем хозяйстве да о своей деревне, но и об общих интересах всех обездоленных,— эта трудность постоянно занимала Щедрина.

Он не был народником в обычном смысле слова. К общине, которую так боготворили народники, Щедрин относился резко отрицательно: он видел в ней орудие лишнего угнетения, а не основу для освобождения крестьянина. Но он сближался с народниками в том смысле, что величайшее значение придавал деревне в вопросе об общих судьбах России.

«Как ни взмывай крыльями вверх, а поселка все-таки не миновать,—писал Щедрин:—там настоящий пуп земли, там решение задач, там ключ к разумению не только прошедшего и настоящего, но и будущего. И нужно пройти туда...

Там, в поселке, царит вековечная нужда, но есть и то, что хуже нужды: крестьянин «беден», действительно беден всеми видами бедности, какие только можно себе представить, и что всего хуже—беден сознанием этой бедности. Приди он к этому сознанию—его дело было бы уже наполовину выиграно».

Значит, главное—помочь росту сознательности среди читателей. И рассказы Щедрина дают богатейший материал для этого,—

дают даже и в настоящее время, несмотря на то, что самый поздний из них написан тридцать лет назад.

Перед вами проходят крепостники-помещики, после 1861 года в значительной части своей слившиеся с хищнической буржуазией, отчасти пополнявшейся и из рядов разбогатевших крестьян-кулаков. Вы видите в обнаженном виде, во всем его умственном ничтожестве, нравственно нечистоплотного бюрократа, идущего об руку с буржуазией.

О русской буржуазии Щедрин писал, что она состоит из кабатчиков, процентщиков, банковых дельцов и прочих казнокрадов и мироедов. «Это ублюдки крепостного права, выбивающиеся из всех сил, чтобы восстановить оное в свою пользу в форме менее разбойнической, но несомненно более воровской».

Узнаете вы из рассказов Щедрина истинную физиономию и преобладающей массы русской интеллигенции,—этих адвокатов Балалайкиных и Хлестаковых, и литераторов Прелестновых, и газетчиков Подхалимовых,—узнаете и «батюшек», всегдашних пособников буржуазии и полиции, превративших «храм отца» в вертеп разбойников.

Из всей интеллигенции Щедрин выделял только ту молодежь, в которой еще жили высокие стремления и готовность бороться за идеалы лучшего будущего. К такой молодежи Щедрин относился с величайшей любовью и поощрением. При столкновении старозаветных эксплоататоров-отцов с бунтующими и протестующими демократами-детьми Щедрин всегда становился на сторону детей.

Не суждено было ему, умершему в 1889 году, видеть подъем и расцвет рабочего движения, не суждено было изобразить пролетария-борца, творящего новую жизнь. Но сам этот пролетарий-борец долго еще будет черпать художественное наслаждение и умственную пищу из творений великого русского социалиста-утописта.

И ставя Щедрину памятник на площади, пролетарий-борец не забудет поставить ему и другой, более ценный памятник, не на площади, а в своем сознании, обогащенном и просветленном сочинениями М. Е. Салтыкова.

О полном собрании сочинений Щедрина [1]

В газетах промелькнуло известие о том, что будут изданы произведения Щедрина, печатавшиеся в журналах, но не вошедшие в собрание его сочинений, которое мы до сих пор имели. Давно пора!

Странная судьба выпала на долю этого писателя! Что люди

[1] Напечатано в газете «Восточное обозрение», № 27 за 1900 г.

противного литературного лагеря трактовали о нем только как о бойком фельетонисте,—этому нечего особенно удивляться. Гораздо поразительнее то, что даже многие из поклонников Щедрина не сумели оценить его значения. Большинство произведений Щедрина, при первом своем появлении, отвечало злобе дня. Только с этой точки зрения и смотрели на них иные читатели. Скабичевский от чистого сердца рассказывает, будто нередко статья Щедрина, писанная в марте, оказывалась запоздавшей, если появлялась в сентябрьской книжке журнала за тот же год. Один просвещенный издатель, соглашаясь купить за 60 000 рублей право на издание сочинений Щедрина, ставил условием... право не печатать их полностью, то есть выбрасывать все устаревшее.

Этот торг происходил незадолго до смерти Салтыкова, в самые мрачные годы русской общественной жизни. Эпидемия ренегатства, царившая в то время, больно отзывалась на сердце великого писателя. Он жаловался на свою заброшенность. Он почти сомневался в существовании читателя-друга. И все-таки он не поддался настроению. Он лучше понимал значение своей писательской деятельности, чем просвещенные издатели и критики. Но предъявление упомянутого условия могло все-таки оказать некоторое давление. Вот одна из вероятных причин того, почему издание собрания сочинений, предпринятое самим автором, оказалось далеко не полным.

Прошло много лет с тех пор, как были написаны «фельетоны», печатание которых через полгода после их составления казалось запоздавшим. Следовало думать, что теперь изгладилось само воспоминание о том, что был когда-то писатель по смешной части, фабриковавший бойкие фельетоны. Как шутит иногда история над просвещенными ценителями и судьями!

Издание сочинений Щедрина, несмотря на свою очень высокую цену, расходятся одно за другим. Имя его знакомо всякому маломальски образованному человеку. Литературный вечер его памяти привлекает столько народу, что не только заняты все места в зале, но люди стоят в проходах, в коридорах, на лестнице, и даже на улице образуется толпа, тщетно рвущаяся услышать хоть одно слово, посвященное памяти дорогого писателя. Как в свое время первым разрезывался тот лист журнала, в котором была статья Щедрина, так теперь читатель спешит не пропустить того, что напечатано под заголовком: «Воспоминания о Щедрине», «Новые материалы для биографии» и т. п.

Одна почтенная газета поместила недавно под заголовком: «Новые материалы для биографии Салтыкова» статью такого содержания. Некто в 40-х годах привлек к себе внимание негласного комитета по делам печати и подвергался большой опасности. К счастью, комитету подвернулась под руки повесть Щедрина «Запутанное дело». Наш некто был забыт, а Щедрин очутился

в Вятке. О себе лично некто рассказывает подробно, но при чем тут «Новые материалы для биографии Салтыкова»? Очевидно, его имя пускается уже в ход как реклама.

Что касается анализа произведений и выяснения исторического значения этого писателя, то тут дело обстоит не так хорошо. О нем писали, правда, Михайловский, Арсеньев, Пыпин, Евг. Соловьев, Кривенко и др., но все эти авторы берут какую-нибудь одну сторону таланта Щедрина, или один период его деятельности, или одну часть содержания. Полного разбора и оценки до сих пор нет. Возможно, что этому способствовало отчасти отсутствие полного собрания сочинений Щедрина.

Нет и порядочной биографии.

Где нужно искать основных мотивов произведений Щедрина? Скабичевский отмечает, как характерную черту нашего автора, его склонность и способность к широким обобщениям. Для примера приводится щедринский Молчалин в сравнении с грибоедовским. Черта подмечена верно, и мы приведем для иллюстрации еще два примера.

В шестидесятых годах, как это ни курьезно кажется нам теперь, почти все новые учреждения (акцизные, контрольные, судебные и т. п.) встречались со стороны консервативной печати с неудержимой злобой. В канцеляриях этих учреждений предполагались очаги революционных заговоров (см., например, роман Лескова «Соборяне»). Между чиновниками старых и новых ведомств развивался антагонизм, казавшийся непримиримым. По поводу этого антагонизма и написаны первые «Письма о провинции». Под именем историографов фигурируют чиновники старых учреждений, под именем пионеров—акцизные, судебные, контрольные и пр. Казалось бы, какое нам теперь дело до этого антагонизма, когда пионеры давно слились с историографами? Но «Письма из провинции» сохраняют интерес как общая характеристика отношений, возникающих между служителями одних и тех же богов в те периоды, когда нарождается новое течение, признающее полезным изменение частных форм в целях сохранения сущности целого. Это изменение недальновидными защитниками устарелой формы встречается как посягательство на основы. При своем появлении «Письма из провинции» имели еще другое значение: не одни только поклонники дореформенного строя склонны были видеть тогда в изменении формы—изменение сущности.

Другой пример. Во время одной полемики Щедрин окрестил противников именем пенкоснимателей, а их орган—Старейшей Всероссийской Пенкоснимательницей. По частному поводу Щедрин дал глубокую и блестящую характеристику того сорта людей, что всегда готовы вынырнуть, раз есть возможность, ставши под данное идейное знамя, ловко обделывать личные делишки.

Благодаря выдающемуся художественному таланту Щедрина его обобщения—не голые абстракции, а живые люди. Но ни талант, ни глубина анализа не сделали бы еще сочинений Щедрина до такой степени жизненными в наше время. Мало ли есть в русской литературе произведений, не менее художественных и притом затрагивающих вопросы еще более общие? В том-то и дело, что речь о пенкоснимателях и пионерах—лишь проявление более общей идеи, проходящей красной нитью через все произведения Щедрина, как ни калейдоскопично кажется содержание их для поверхностного читателя.

Вспомните «Мелочи жизни». Вы встречаете здесь сельскую учительницу, у которой в прошлом—воспитательный дом, а впереди—безвременная могила; и рядом—рассказ об Ангелочке. С одной стороны—многострадальный портной Гришка, с другой—«счастливец» Крутицын. Чудимов умирает в поисках света на пороге жизни, а беспечные Люберцев и Ростокин благополучно устраивают свою карьеру. Перед нами люди труда и эксплоататоры, эгоисты и самоотверженные, задавленные и торжествующие, и все они поставлены за одну скобку: их жизнь—то сплошное мучение, то порхание по розам, то служение культу душевного равновесия, то жестокая борьба,—и всему этому одно название: «мелочи жизни».

С какой же точки зрения можно считать все это мелочами? Послушаем автора: «Все кружится в одном и том же омуте мелочей, не зная, что собственно находится в конце этой неустающей суеты, и какое значение она имеет в экономии общечеловеческого прогресса». Итак, героям мелочей жизни недостает сознания конечной цели своих стремлений и знания своей роли в общем ходе прогресса, другими словами—сознательно выработанных принципов и идеалов, которые определяли бы жизнь.

Вот человек, который мог бы жить свободно, удовлетворяя потребности своей развитости; но он надрывается в стараниях втереться в блестящую и властную среду, хотя он там чужой и ему все чужды. «Идеалы, свобода, порывы души—все забыто, все принесено в жертву». Скоро «получается заправский раб, в котором все сгнило, кроме гнутой спины и лгущего языка». У этого человека тоже была своего рода цель—достигнуть известного общественного положения; весьма возможно, что ему не чуждо и сознание своей роли в экономии прогресса. Но не такую цель и не такое сознание имел в виду Щедрин. В чем ошибка честолюбца? В том, что он подчинил идеальные порывы души мотивам иного порядка. Чтобы не быть рабом мелочей жизни, нужно положить в основу собственной жизни служение сознательно выработанным идеалам. Что не служение идеалу, то мелочь.

У некоторых персонажей из сборника «Мелочей жизни» как будто есть принципы (у Крутицына, у «убежденного помещика»),

но эти принципы не имеют ничего общего с сознательно выработанным идеалом. Другим не чужды идеалы (Ах, бедный читатель-друг), но они хранятся под спудом, а жизнь, отвоевывая пядь за пядью, в конце концов совершенно подчиняет этих людей своим мелочам. Чудинов порывался к свету, но раньше, чем удалось сделать шаг к нему, волна мелочей захлестнула насмерть несчастного юношу.

Не составляет исключения, до известной степени, и Имярек, но говорить о нем пришлось бы слишком долго. Сам Щедрин верно резюмировал содержание своей литературной деятельности.

> «Прошу читателя не думать, что я считаю отвлеченности и обобщения пустопорожнею фразою. Нет, я верил и теперь верю в их живоносную силу; я всегда был убежден и теперь не потерял убеждения, что только с их помощью человеческая жизнь может получить правильные и прочные устои. Формулированию этой истины была посвящена лучшая часть моей жизненной деятельности, всего моего существа. Не погрязайте в подробностях настоящего,—говорил и писал я,—но воспитывайте в себе идеалы будущего: ибо это своего рода солнечные лучи, без оживотворяющего действия которых земной мир обратился бы в камень. Не давайте окаменеть сердцам вашим, вглядывайтесь часто и пристально в светящиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего. Только недальнозорким умам эти точки кажутся беспочвенными и оторванными от действительности; в сущности же они представляют собой не отрицание прошлого и настоящего, а результат всего лучшего и человеческого, завещанного первым и вырабатывающегося в последнем. Разница заключается только в том, что, создавая идеал будущего, просветленная мысль отсекает все злые и темные стороны, под игом которых изнывало и изнывает человечество» (т. XII, стр. 78, изд. 1892 г.).

Эта, может быть слишком длинная, выписка дает понятие, почему для Щедрина не было ничего более ненавистного, чем бессознательность и компромисс, и почему бессознательность и компромисс ни в ком не встречали более горячего и беспощадного противника. В этом—основной мотив деятельности Щедрина и ключ к ее пониманию. Ясно, что пока у русского читателя будет существовать спрос на идеалы, до тех пор сочинения Щедрина не отойдут в историю. Главнейшая задача и жизненный нерв нашего времени—развитие сознательности в тех общественных группах, которые выросли на развалинах крепостного хозяйства. Разрешение задачи еще только начинается. Пока оно не окончится, произведения Щедрина сохранят всю жгучесть современности.

В наше время уже не может быть сомнения в том, что Щедрину принадлежит одно из первых мест в истории русской литературы.

Настоящая заметка вызвана исключительно газетным известием, приведенным в начале ее. Поэтому здесь не место дальнейшему анализу сочинений Щедрина, как ни интересна тема сама по себе. Цель заметки—указать на значение этого писателя, чтобы оправдать те требования, которые приходится предъявлять к новому изданию его сочинений.

Первое требование—чтобы в новое издание вошло все, что когда-либо сдано Щедриным в печать или предназначалось для печати, будь то газетная статья, библиографическая заметка и т. п. Нам нужно полное собрание сочинений.

Произведения должны быть размещены в хронологическом порядке, насколько это возможно, принимая во внимание, что Щедрин обыкновенно писал несколько вещей одновременно.

Хронологический указатель, прилагавшийся до сих пор к первому тому, не полон и не верен. Слишком недостаточны такие указания, как то, что «Помпадуры и помпадурши» появлялись в печати с 1863 г. по 1873 г., «Недоконченные беседы»—с 1873 г. по 1884 г., «Современная идиллия»—с 1877 г. по 1883 г., «Сказки»—с 1880 г. по 1885 г. и т. п. При таких слишком общих указаниях нельзя следить за развитием идей и таланта, ни определить, в связи с какими событиями общественной жизни написана данная глава или очерк. Следует в отдельном хронологическом указателе или в примечании к каждой главе и к каждому рассказу дать указание, в какой именно книжке какого журнала вещь была в первый раз напечатана.

Кроме значения современности, на которое мы указали выше, сочинения Щедрина имеют большое значение как материал для исторического ознакомления с эпохой 1856—1889 гг.

Это лишний раз доказывает необходимость точных и подробных хронологических указаний. Отсюда же вытекает потребность в исторических справках. Полный исторический комментарий пока невозможен. Но Щедрину часто приходилось бороться с теми или иными литературными течениями; историко-литературные справки возможны и очень полезны.

Павленков нашел возможность приложить именной указатель к дешевому изданию сочинений Скабичевского. Ввиду такого факта требование приложить указатель к сочинениям Щедрина не может быть признано чрезмерным.

Наконец, можно пожелать от нового издания большей доступности в цене. Что оно быстро разойдется в большом количестве экземпляров,—в этом не может быть сомнения.

Исправленный Н. А. Некрасов [1]

Хочу сказать несколько слов об издании стихотворений Некрасова под редакцией Чуковского,—специально о пьесе «Пир на весь мир». Я познакомился с нею в 1878 году, когда она была нелегальщиной, переписал ее целиком и так зачитывался ею, что многие места запомнились до сих пор. И теперь, перечитавши ее вновь, пришел к мысли, что именно «Пир на весь мир» наложил печать на характер и направление всей моей жизни. В дореволюционных изданиях не перечитывал, так как пьеса подвергалась сокращениям и,—что особенно было важно,—искажениям в смысле приспособления к царской цензуре.

В стихотворении «Русь» (стр. 346) был добавлен куплет о царе, замышлявшем войну и считавшем свои силы. Вместо гимна силе народной (демократической) получился гимн царской власти. В издании под редакцией Чуковского этот куплет выброшен. Но нет указания на то, кем же именно был вставлен, если не Некрасовым,—цензором?

Решение этого вопроса имеет значение для судьбы другой песни из «Пира», напечатанной на стр. 342 издания 1920 г. Эта песня также искажена вставками, придавшими ей прямо противоположный смысл и не выброшенными Чуковским. Мне особенно запомнился первоначальный текст, так как я про себя повторял ее без счета. Начиналась песня так:

Доля народа,
Счастье его —
Свет и свобода
Прежде всего!

А в дореволюционном издании вставлено перед этим куплетом и после него дважды:

Славься, народу
Давший свободу!

«Давший свободу»—ясное указание на царя Александра II, которому дворяне и буржуазия дали прозвище Царя-освободителя, а демократия—более справедливое прозвище Царя-вешателя. И, конечно, Некрасов был не на стороне дворян. Напротив, в том же «Пире на весь мир», в рассказе «О двух великих грешниках» (стр. 333—334), грешнику, покаявшемуся разбойнику, все грехи отпускаются только за то, что он вонзил в сердце нож помещику «богатому, знатному, первому в той стороне». Это в то время понималось, как призыв к убийству Царя-вешателя. И вдруг—славься, Царь-вешатель!

[1] Напечатано в журнале «На литературном посту», № 7—8 за 1926 г.

Точно так же позднейшей вставкой является и куплет:

Благослови,
Господи правый,
Счастьем и славой
Дело любви!

Эта толстовщина находится в резком противоречии с последующим куплетом той же песни:

Жизнь круговая —
Другу [1] прямая
К сердцу дорога,—
Прочь от порога,
Трус и лентяй!
То ли не рай?

Не столько то важно, кто именно так «исправлял» Некрасова в дореволюционных изданиях, как важно устранить из последующих изданий эти вставки, искажающие Некрасова. И, конечно, нельзя поручать такого дела одному Чуковскому.

Как исправлен Некрасов [2]

Чуковским издание стихотворений Н. Некрасова действительно очень дополнено и кое-где исправлено. Но в достаточной ли мере исправлено? И способен ли Чуковский исправить его как следует? Я имею в виду сторону политическую.

Дело в том, что Некрасов не только подвергался цензурным искажениям, но и сам вынужден был применяться к цензуре и к требованиям рыночного спроса, ради куска хлеба. Он сам дал себе оценку в покаянном стихотворении «Неизвестному другу», из которого привожу часть:

На мне года гнетущих впечатлений
Оставили неизгладимый след,
Как мало знал свободных вдохновений,
О родина! — печальный твой поэт!
Не торговал я лирой, но, бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука [3]...

Подчеркиваю слова поэта: «Как мало знал свободных вдохновений». Понятно желание Некрасова, чтобы после его смерти перепечатывалось только то, что он сам включил в собрание своих

[1] Мы сказали бы теперь вместо «другу» — товарищу.

[2] «Стихотворения Н. А. Некрасова», издание исправленное и дополненное, под редакцией К. И. Чуковского. Госиздат Пб., 1920. — Статья эта напечатана в журнале «На литературном посту», № 2 за 1927 г.

[3] Стр. 188. (В алфавитном указателе напечатано «185». Оглавление не приложено. Вообще, с внешней стороны издание 1920 года оставляет многого желать.)

стихов. И Чуковский признает справедливым это желание, ибо это—«желание художника».

Я бы добавил: «и политического деятеля». Суть в том, что Некрасов не застыл на политических идеалах молодости, а шел вперед, умел понять идеи революционного движения 70-х годов и хотел именно им служить после своей смерти. Вот эту-то сторону и игнорирует Чуковский при «исправлении»,—а может быть и сознательно искажает.

Я довольно бегло перелистал только некоторое количество страниц издания, «исправленного» Чуковским, и считаю нелишним поделиться с читателем своими впечатлениями.

Начну с «Пира на весь мир». В № 7—8 нашего журнала я уже говорил о нем, но не совсем удачно. Я приписал Чуковскому заслугу исключения из «Пира» куплета, который резко противоречил всему содержанию пьесы. Оказалось, что я грубо, непонятно ошибся. Чуковский не исключал; а в издании 1895 года приложено к первому тому факсимиле этого самого стихотворения «Русь» под названием «Песня Гриши», где этого куплета нет. Таким образом оказывается, что издатель 1895 года сумел косвенно обойти цензуру, а советское издательство—«исправило».

В № 7—8 я говорил, и теперь настаиваю, что должны быть выброшены и стихи:

Славься, народу
Давший свободу.

Эти слова во славу Царя-вешателя поет будто бы юноша Гриша, о котором через полторы страницы (стр. 344) Некрасов пишет:

Года ученья минули,
И ю оша, отмеченный
Печатью дара божьего,
Стал пылким и восторженным
Певцом освобожденья
Униженных, обиженных
На всей святой Руси.
Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного за тупника,
Чахотку и Сибирь.

«Чахотку и Сибирь», то есть тюрьму и ссылку! Это за то, что воспевал царя?!

Еще одно маленькое замечание «цензурного» свойства.

Рассказывается об изувере-помещике. Его слуга не сумел отомстить барину иначе, как самоубийством (повесился в присутствии барина). Слушатели-крестьяне жалеют самоубийцу, жалеют будто бы и барина:

Да жутко и за барина, —
Какую принял казнь!
— Ой! Ой! Еще прослушали... И т. д.

При чтении этого места (стр. 329) меня резануло по сердцу. Справился в издании 1895 года,—то же самое. А между тем память подсказывает мне, что вместо бессмысленных слов «Ой! Ой!»— стояло «Жалей!» Смысл совсем другой.

Теперь еще замечание, не связанное с цензурой.

Рассказывается о «барышне», которая решила:

Кто скажет слово крепкое,
Того нещадно драть.
И драли же! Покудова
Не перестали лаяться.
А мужику не лаяться —
Едино, что молчать.
Намаялись! Уж подлинно
Отпраздновали волю мы,
Как праздник: так ругалися,
Что поп Иван обиделся
За звоны колокольчые,
Гудевшие в тот день...

Далее Чуковским вставлено (начало стр. 326):

Обрадовались лошади,
Не только мужики.

Ничего нецензурного в этих двух стихах не было. Очевидно, они были вычеркнуты впоследствии самим Некрасовым. И действительно, эти два стиха ослабляют впечатление рассказа.

Нет ли еще подобных, ненужных вставок? Чтобы судить об этом, пришлось бы произвести считку всех тех стихотворений, против которых в алфавитном указателе поставлены две звездочки.

Одна звездочка стоит против тех стихотворений, которые впервые включены в это собрание. И тут попадается то, что справедливо было выброшено самим автором, например «На смерть Т. Г. Шевченко»; неудавшееся, сухое стихотворение.

Некрасов завещал не включать в собрание его стихотворений ничего кроме того, что он сам указал. Само собой разумеется, что это ограничение не относится к тем местам и отдельным стихотворениям, которые в свое время зарезала цензура. Чуковский решил сделать два «приложения». Зачем? По существу, в этих приложениях нечего было бы читать, если бы не особая цель, очевидно, руководившая Чуковским. Вспомним, что издан Некрасов в 1920 году, а «работа» примечаний сделана еще раньше; не забудем, что автор «приложений» и «примечаний»—сотрудник буржуазно-монархических газет. У него не могло быть уверенности, что победит в конечном счете пролетарская революция.

Естественно, что Чуковский служил и лёвым и правым[1]. Он собирал все, что у Некрасова можно было толковать в полицейско-самодержавном духе: и веру Некрасова в царя перед 1861 годом, и попытку его в 1866 году обмануть правительство своей политической благонамеренностью. Получилось, что в советском издательстве воспевается и Комиссаров, спасший царя от революционера, и усмиритель польского восстания Муравьев-Вешатель (стр. 531—532).

Цель Чуковского—служить одновременно и революции и контрреволюции—особенно ясно выступает из двух его примечаний. Ненужный, забракованный самим Некрасовым, отрывок из поэмы «Тишина» напечатан со следующим примечанием Чуковского (стр. 549):

«Этот отрывок поэмы «Тишина», заключающий в себе восторженную оценку царя Александра II, был впоследствии исключен Некрасовым из собрания его стихотворений, точно так же и следующие строки из поэмы «Несчастные»:

Мы пали ниц, благодаря
Нас не забывшего царя.

Ни к селу, ни к городу к «Тишине» приплетены строки из «Несчастных»,—очевидно, только для оправдания Чуковского перед белогвардейцами. А так как у белогвардейцев экспертом по литературным делам естественно предполагался Суворин-сын, то Чуковскому нужно было почтить память Суворина-отца примечанием к стр. 179, к стихотворению «Пропала книга».

Чуковский—не революционер. Поэтому он легко мог не знать, что стихотворение «Смолкли честные, доблестно павшие» относится к подсудимым революционерам по «процессу 50-ти». (См. «Революционная журналистика 70-х годов», под ред. Базилевского,—«Земля и воля», № 5 от 8 апреля 1879 г.). Без этого указания стихотворение (стр. 439) теряет значительную долю смысла.

Уже семь лет гуляет по Советскому союзу издание, в котором милостью Чуковского воспеваются подвиги и усмирителя польского восстания Муравьева, и Комиссарова, спасшего царя, и самого царя Александра II. В декабре 1927 года предстоит ознаменование пятидесятилетия со дня смерти Некрасова. Первая мысль при этом будет—снабдить библиотеки и школы собранием стихов Некрасова. Очевидно, необходимо будет переиздание,—но с исправлениями «исправлений» Чуковского. Нужно будет выбросить всю «чуковщину» и заново написать биографию поэта. Подгото-

[1] Тот же характер имеет «биографический очерк», написанный В. Евгеньевым-Максимовым: начинается он с того, насколько был богат пра-прадед Некрасова, а кончается надгробным словом поэту, произнесенным «священником М. И. Горчаковым».

вить новое издание нужно поручить не белогвардейцам, явным или скрытым,—а коммунистам. Издание же 1920 года—изъять из продажи.

СТАТЬИ О ТОЛСТОМ

Тов. Ленин или Лев Толстой [1]

Не правда ли, что в нашей стране звучит дико это «или» в заголовке статьи? А ведь приходится противопоставлять... Реклама о Толстом приняла чисто «американский» характер,—вроде того, что на каждом шагу можно встретить в буржуазных странах, когда рекламируется косметика или средство против насекомых.

С кем ни поговоришь, все коммунисты возмущаются этой безудержной рекламой. Очевидно, общий голос протеста дошел и до Государственной редакционной комиссии в лице тт. Луначарского, Покровского и Бонч-Бруевича. И последнее аршинное объявление хотя бы в «Правде» от 2 февраля свидетельствует о том, что где-то кто-то «намекнул» на неприличие такой рекламы. Реклама дала трещину.

Эта трещина пока что не велика, напечатана на задворках объявления, в виде извещения о «Литературно-критическом сборнике о Толстом» и об издании статей Ленина, Плеханова, Л. Аксельрод и Луначарского.

Раньше Ленин замалчивался «комиссией», а теперь, хотя и мелким шрифтом, хотя и с пропусками, все-таки появился. Плохо только то, что замалчивается статья т. Ленина, направленная одновременно и против Толстого и против ликвидаторов («Герои оговорочки», т. XI, ч. 2, изд. 1924 г.). Плохо и то, что редактирование сборника поручено Л. Аксельрод, шедшей всегда не с Лениным, а с Плехановым. Коммунистка ли она? Плохо и то, что статьи т. Ленина перечислены не в хронологическом порядке,—а это имеет значение: ведь самое важное для нас—знать окончательное, последнее мнение т. Ленина о Толстом. Плохо, наконец, и то, что тт. Ленин и Плеханов появляются в сборнике в сопровождении имен, недостаточно известных по части марксизма.

Короче: т. Ленину приходится снова итти в подполье, при благосклонном содействии не царских жандармов, а тт. Луначарского, Покровского и Бонч-Бруевича.

Далее. Важен вопрос, когда именно появится «Сборник». Казалось бы, в коммунистическом государстве, в государственном издательстве, под наблюдением членов партии, прежде всего нужно было опубликовать статьи т. Ленина о Толстом, а потом уже издавать Толстого. Ведь т. Ленин в своей последней статье (т. XI, ч. 2, стр. 174—175, статья «Л. Толстой и его эпоха») говорит

[1] Напечатано в газете «Правда», № 30 от 4 февраля 1928 г.

в заключительном слове, что «в наши дни всякая попытка идеализации учения Толстого приносит самый непосредственный и самый глубокий вред».

Не хотелось бы касаться вопроса о личностях, а теперь поневоле приходится. Именно о личностях членов Государственной редакционной комиссии. Вопрос этот имеет непосредственное касательство к теме настоящей статьи: Ленин *или* Толстой.

Прежде всего—о т. Луначарском. Всем известно, что после 1905 года он занялся богостроительством, за что и получил от Плеханова кличку «Анатолий Блаженный». С Лениным он разошелся почти на десять лет. В 1917 г. он вел борьбу против большевиков в газете «Новая жизнь»; но постепенно приблизился к нам. В октябрьские дни он получил должность народного комиссара просвещения. Через несколько дней публично отрекся, мотивируя тем, что в Москве во время восстания повреждена церковь Василия Блаженного. По этому поводу в Москве говорилось, что «Анатолий Блаженный обиделся за Василия Блаженного». А еще через несколько дней появилось заявление т. Луначарского, что Василий Блаженный не пострадал,—и т. Луначарский вернулся на пост народного комиссара.

Тов. Покровский также отходил от Ленина в течение нескольких лет. Колебался, повидимому, вернуться в партию и в 1917 году. И только в самый критический момент восстания явился в Военно-революционный комитет и без всяких оговорок отдал себя в распоряжение партии.

Тов. Бонч-Бруевич никогда не отходил от большевиков. Но с молодых лет и до настоящего времени не порывал связи с толстовцами. На какой почве—не знаю.

В заключение два слова о себе. В течение нескольких лет я числюсь в числе редакторов журнала «На посту» и затем «На литературном посту». В начале января на редакционном собрании (были Волин, Раскольников, Авербах, Ермилов и я) было решено открыть разъяснительную кампанию о том, что такое Толстой с нашей, коммунистической, точки зрения. Вопрос прошел почти без прений. И вдруг неожиданно в № 1 журнала появляется рекламная статья т. Бонч-Бруевич о Толстом. Как она попала в журнал? Вопрос выяснится в ближайшие дни.

Наше отношение к Л. Н. Толстому [1]

Я хочу рассказать об отношении к Толстому революционеров того времени, когда Толстой полностью определился, то. есть в 70—80-е годы.

Граф Л. Н. Толстой, крупный помещик, печатался в журнале

[1] Напечатано в журнале «Огонек», № 4 за 1928 г.

«Русский вестник»,—в журнале крепостническом, или, говоря по-нынешнему, белогвардейском. А в то время невозможно было отделять политику от «художественной» литературы: в литературной форме излагалась, можно сказать, революционная программа (напомню «Что делать?» Чернышевского), в такой же форме, в виде пасквилей на революцию, боролась контрреволюция (с дополнением газетных статей, каторги и виселиц).

Понятно поэтому наше отношение к Толстому: его, как и Достоевского (после пасквильного романа «Бесы»), попросту не читали.

Я лично прочел «Войну и мир», еще не будучи сколько-нибудь сознательным революционером, в возрасте 14—15 лет. А затем решился прочесть кое-что («Казаки», опять «Войну и мир», «Анну Каренину») в тюрьме, во второй половине 1890 года. И осталось впечатление, что зря потратил время на чтение этих контрреволюционных произведений. Конечно, писания Толстого талантливы, но именно поэтому сугубо вредны и опасны.

Пришлось поневоле познакомиться с писаниями Толстого также в средине 80-х годов,—с писаниями новыми. В то время революционная организация «Народной воли» клонилась к упадку как под ударами полиции и провокации, так и потому, что идеология «Народной воли» уже стала переживать себя. Вдруг появились слухи, будто бы Лев Толстой проповедует новое противоправительственное учение. Появились подпольные произведения Толстого, распространившиеся по тем каналам, по которым распространялась и революционная литература. Если память мне не изменяет, появилась и статья «Так что же нам делать?»,—как бы ответ на «Что делать?» Чернышевского и как предвестник «Что делать?» Ленина. Разница в том, что Чернышевский и Ленин указывали путь революции, а Толстой, как это скоро выяснилось, вбивал осиновый кол в гроб революции. Учение Толстого сводилось к «непротивлению злу насилием». Если крестьянина секут за неуплату недоимок или аренды барину,—нельзя противиться; если, рабочего бьют и штрафуют,—не противься; если революционер попадает на каторгу или на виселицу,—не противься жандармам и провокаторам, и т. д.

Это учение быстро распространилось среди ренегатствующей интеллигенции и заразило честную молодежь именно благодаря талантливости его проповедника, Льва Толстого. Молодежь, оставшаяся верной революции, оказалась точно на необитаемом острове. И понятно, что товарищи Александра Ульянова (брата Ленина) и сам Ульянов, уже склонившиеся к марксизму, сделали жест отчаяния, прибегли к бомбам и погибли на виселице.

Учение Толстого било и по народовольцам и по марксистам. Правда, Толстой рекомендовал уклониться и от военной службы. Но как он доказывал это свое учение? Во-первых, в художественной

форме, в виде картины того, как неприятель вторгался в страну «непротивленцев», как он опустошал страну, и в конце концов пришел к выводу, что избивать непротивленцев—все равно, что «кисель резать ножом». Следовательно, например, в наши дни, если бы империалисты вместе с белыми эмигрантами вторглись в пределы Советского союза, то не следует противиться!

Скоро царское правительство оценило деятельность графа и для проповеди его идей разрешило легальное издательство под фирмой «Посредник». Среди теперешних коммунистов живы еще люди, которые боролись против контрреволюционного учения Толстого; есть и товарищи, смолоду увлекавшиеся учением Толстого. И недаром т. Луначарский в анкете, напечатанной в № 52 (248) «Огонька» (1927 г.) (в конце анкеты) опасается «рецидива толстовских настроений»; недаром там же и т. Крупская в других выражениях повторяет опасения т. Луначарского.

Это потому, что и т. Крупская и т. Луначарский были и остаются революционерами. В противовес им, в той же анкете, Вересаев отзывается о Толстом безоговорочно в положительном смысле,—и это понятно: Вересаев—не революционер. И только для таких людей мещанского склада,—как я думаю,—годовщина рождения Толстого может быть беспримерным праздником...

Тов. Крупская выражается деликатно: не следует навязывать чтение Толстого рабфаковцам, то есть молодежи. А среди молодежи приходится встречать мнение, что грехи прошлого в деятельности Толстого настолько отдалены временем, что они при чтении не замечаются. Можно сделать из этого одно из двух предположений: или прошлое действительно не замечается, или молодежь недостаточно знакома с историей революционного движения в России и с историей контрреволюционных течений.

А тем, которые серьезно думают, будто Толстой не был крепостником, можно порекомендовать чтение высоко художественного произведения—«Пошехонской старины» Салтыкова-Щедрина, или, по крайней мере, перечитать то, что писал в своих стихотворениях Некрасов о «детстве», «отрочестве» и вообще о помещичьей жизни и жизни крестьян во время крепостного права, а затем сравнить, как описывали эпоху крепостного права, с одной стороны, Толстой, а с другой стороны, Некрасов и Салтыков.

Несколько иное было отношение к Толстому, когда стал забываться острый период борьбы против «толстовства», против учения о непротивлении злу насилием. Повидимому, и сам Толстой переживал эволюцию, освободившись от лап «Русского вестника». Толстого стали читать. Его стали и ценить как художника, поскольку в его писаниях не выпячивалось «непротивление» и подновленная поповщина.

Но опасливое отношение к Толстому сохранилось на всю жизнь, как сохранилось оно у т. Крупской и т. Луначарского.

О Л. Н. Толстом [1]

В № 4 журнала «Огонек» напечатана моя статья «Наше отношение к Л. Н. Толстому». По существу статья направлена против чрезмерного рекламирования и возможного увлечения сочинениями Толстого. Кончается моя статья словами: «Но опасливое отношение к Толстому сохранилось на всю жизнь, как сохранилось оно у т. Крупской и т. Луначарского».

В примечании от редакции «Огонька» сказано, что статья в общем правильно выражает точку зрения нашей партии на «толстовство», но... дальше цитирует слова т. Ленина, которые должны в значительной степени рассеять опасения и мои, и т. Крупской, и т. Луначарского. Это—слова, напечатанные в Собрании сочинений т. Ленина, т. XI, стр. 115.

К сожалению, автор примечания взял только начало статьи т. Ленина; он не принял во внимание, что статья направлена против «крокодиловых слез» правительственных и буржуазных газет по случаю смерти Толстого; по отношению же к самому Толстому содержит массу оговорок и ограничений. В целом цитаты дают неверное представление об отношении Ленина к Толстому.

Через три месяца после этой статьи была напечатана в «Звезде» вторая статья т. Ленина «Л. Н. Толстой и его эпоха». Эту статью т. Ленин заканчивает следующими словами:

«Учение Толстого безусловно утопично и, по своему содержанию, реакционно в самом точном и в самом глубоком значении этого слова. Но отсюда вовсе не следует ни того, чтобы это учение не было социалистическим, ни того, чтобы в нем не было критических элементов, способных доставлять ценный материал для просвещения передовых классов.

Есть социализм и социализм. Во всех странах с капиталистическим способом производства есть социализм, выражающий идеологию класса, идущего на смену буржуазии, и есть социализм, соответствующий идеологии классов, которым идет на смену буржуазия. Феодальный социализм есть, например, социализм последнего рода, и характер *такого* социализма давно, свыше 60 лет тому назад, оценен был Марксом наряду с оценкой других видов социализма.

Далее. Критические элементы свойственны утопическому учению Л. Толстого так же, как они свойственны многим утопическим системам. Но не надо забывать глубокого замечания Маркса, что значение критических элементов в утопическом социализме «стоит в обратном отношении к историческому развитию». Чем больше развивается, чем более определенный характер принимает деятельность. тех общественных сил, которые «укладывают» новую Россию и несут избавление от современных социальных бедствий, тем бы-

[1] Напечатано в газете «Правда» от 31 января 1928 г.

стрее критически-утопический социализм «лишается всякого практического смысла и всякого теоретического оправдания».

Итак, учение Толстого безусловно, по своему содержанию, реакционно в самом точном и в самом глубоком значении этого слова. И не только реакционны публицистические его произведения. Сотрудничая много лет в самом гнусном, в самом боевом реакционном журнале («Русский вестник»), Толстой и на деле, в своих художественных произведениях, служил реакции. В начале данной статьи т. Ленина цитируется, например, место из «Анны Карениной», причем т. Ленин справедливо рассматривает мысли персонажа романа как мысли самого Толстого. А автор примечания в «Огоньке» как раз и берет под свою защиту роман «Анна Каренина». Почему это произошло? Потому что Толстой более или менее ловко («художественно») затушевывает свою реакционность. И только вполне сознательный коммунист может вскрыть эту глубокую реакционность.

И в заключение той же статьи т. Ленин говорит:

«Четверть века тому назад критические элементы учения Толстого могли на практике приносить иногда пользу некоторым слоям населения в о п р е к и реакционным и утопическим чертам толстовства. В течение последнего, скажем, десятилетия это не могло быть так, потому что историческое развитие шагнуло немало вперед с 80-х годов до конца прошлого века. А в наши дни, п о с л е того как ряд указанных выше событий положил конец «восточной» неподвижности, в наши дни, когда такое громадное распространение получили сознательно-реакционные, в узко классовом, в корыстно-классовом смысле реакционные идеи «веховцев» среди либеральной буржуазии,—когда эти идеи заразили даже часть почитай-что марксистов, создав «ликвидаторское» течение,—в наши дни всякая попытка идеализации учения Толстого, оправдания или смягчения его «непротивленства», его апелляций к «Духу», его призывов к «нравственному самоусовершенствованию», его доктрины «совести» и всеобщей «любви», его проповеди аскетизма и квиетизма и т. п., приносит самый непосредственный и самый глубокий вред» [1].

Статья написана в январе 1911 года. Но и раньше (то есть в 80-е годы) критические элементы учения Толстого только и н о г д а, только н е к о т о р ы м слоям населения могли быть полезны. А в «наши дни» (то есть в 1911 и следующих годах) всякая попытка идеализации учения Толстого приносит «самый непосредственный и самый глубокий вред». Следовательно, и в 1928 году идеализаторам «художника» Толстого прежде всего нужно доказать, что теперь учение Толстого уже не может принести вреда. Где и кто попытался доказать безвредность нового издания полного собрания сочинений Толстого, столь усердно ныне рекламируемого?

[1] Собрание сочинений Ленина, т. XI, стр. 174—175.

В заключение мой совет всем литераторам и ораторам—до конца читать статьи Ленина, а не хватать отдельные фразы, в частности—и о Толстом.

Ответ А. Луначарскому [1]

Тов. Луначарский считает «правильным» дать разъяснения ввиду «толков в связи с деятельностью Государственной редакционной комиссии по изданию сочинений Толстого».

Эти «толки» действительно существуют и все усиливаются по мере развития рекламной деятельности Госиздата. Особенно возмутила товарищей-коммунистов газетная реклама 2 февраля. Моя заметка, напечатанная в «Правде» 4 февраля, была лишь отголоском общего негодования. Я указывал, между прочим, и на то, что Редакционная комиссия отдала Ленина под надзор меньшевички Л. Аксельрод.

Теперь т. Луначарский объясняет, что редкомиссия не имеет никакого отношения к рекламам. Виноват Госиздат,—и обвинение, очевидно, должно быть к. т. Халатову. Мне оставалось бы только извиниться перед т. Луначарским за мою ошибку, если бы т. Луначарский дальше не взял под свою защиту Госиздата, в виде возражения мне по поводу заголовка моей статьи «Ленин или Толстой».

Странное возражение! Тов. Луначарский берет для примера вещи несравнимые. А Ленин и Толстой—оба политические деятели, почти современники; разница в том, помимо всего прочего, что Ленин был революционер, а Толстой—реакционер. Отсюда возможность противопоставления: или ленинец, или толстовец; а быть одновременно и ленинцем и толстовцем могут только уроды о двух пустых головах. Но не в этом главное дело, как я укажу дальше. А пока коснусь, сравнительно, мелочей, возбуждающих по меньшей мере недоумение.

Я указывал, что статьи Ленина о Толстом должны были быть изданы до появления сочинений Толстого. Тов. Луначарский объясняет, что за много месяцев раньше в коллегии Наркомпроса было решено переиздать эти статьи. Но ведь месяцы эти прошли, а статьи не появились. Почему? Капиталов у Наркомпроса не хватило? Или Главлит запретил? Бедный Наркомпрос!

Еще одно недоумение. Тов. Луначарский говорит, что редкомиссия создана для решения вопросов об устранении тех или иных фраз из Толстого. И дальше поясняет, что редкомиссия внимательно будет охранять те черты в писаниях Толстого, в которых выражается его революционное чувство. Но ведь Толстой в целом—признанный реакционер (хотя и социалист); притом его писания достаточно удалены от нашего времени. Зачем же наиболее пахучие места

[1] Напечатано в газете «Правда» от 16 февраля 1928 г.

его писаний разбавлять розовой водичкой,—хотя бы путем не вставок, а только сокращений?

Перехожу к тому главному делу, о котором я упомянул выше. Это—общий характер предисловия, написанного т. Луначарским к сочинениям Толстого для издательства «Огонек». Предисловие это переполнено цитатами из Ленина и, особенно в начале, беспощадно к Толстому. Но попробуйте вчитаться, и вас начнет брать сомнение: действительно ли это—позиция Ленина? Проверьте,—цитаты не искажены. Что за странность?

Об одной такой цитате я уже писал в «Правде» от 31 января 1928 г., № 26. Я там обрушился на редакцию журнала «Огонек» и посоветовал до конца прочитывать статьи Ленина, а не выхватывать отдельные фразы. Почему нельзя выхватывать? Потому, что нужно знать не только слова Ленина, но и то, когда, в связи с какими событиями, в какой обстановке они сказаны.

Я помню случаи полемики Ленина с меньшевиками. Противники били Ленина цитатами из Маркса, Энгельса и других авторитетов. Ленин в ответ показывал, при каких обстоятельствах были сказаны слова Марксом и проч.,—и меньшевики бывали вынуждены конфузливо смолкать. Так вот я думаю, что Ленин заслуживает такого же подхода к своим сочинениям.

Цитата, против которой я протестовал, говоря о редакции журнала «Огонек», взята слово в слово из статьи т. Луначарского. Тов. Луначарский еще победоносно добавил: «Вот как смотрит на Толстого Ленин... Вы можете спорить не с Лениным, но он сказал именно так». Я же предпочитаю спорить не с Лениным, а с т. Луначарским, и—готов снять обвинение с редакции «Огонька», которая имела только неосторожность поверить на слово т. Луначарскому.

Вот еще пример. Тов. Луначарский заканчивает свое предисловие так:

> «И марксизм, рассеивая толстовские туманы, вовсе этим самым не говорит, как не говорит этого и Ленин: «Сожжем же сочинения Толстого или оставим их в пренебрежении для червей, для профессоров, которые будут их изучать». Нет, напротив, мы говорим Толстому: «Ты пророк нашего крестьянства, его идеолог со всеми его великими положительными и со всеми отрицательными сторонами».

Так популяризирует мысль Ленина т. Луначарский. Но откуда взялся «пророк»? На стр. 8 внизу предисловия приведены слова Ленина:

«Толстой велик как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионного русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России».

Между Лениным и Луначарским тут две (если не более) «большие разницы»: Ленин ограничивает время, а у т. Луначарско-

го—вне времени, и—не «выразитель», а «пророк». Верьте после этого Луначарскому, будто он выражает мнение Ленина и нашей партии!

А между тем Луначарскому следовало бы особенно осторожно обращаться с богами и пророками ввиду возможности подозрения в рецидиве его богостроительских настроений.

Еще: с кем полемизирует Луначарский, говоря о сожжении сочинений Толстого? Я о таких глупых проектах не слышал, вероятно, и т. Луначарский не слыхал. Зачем же ему понадобилась эта слишком легкая победа? Это—известный прием полемики, и только. Как называется этот прием? Пусть ответит сам т. Луначарский.

Собрание сочинений Толстого предпринято государственной властью. Но одно дело—дать директивы, а другое—выполнить их как следует. Только против действий выполнителей я и возражаю.

Вокруг толстовского издания разгораются страсти. Грозит серьезная кампания. Пока еще только редакция журнала «На литературном посту» решила серьезно заняться вопросами, связанными с этой кампанией. А где же Агитпроп ЦК партии? Почему не слышно о его изданиях, о выработке тезисов для партийного актива и для проработки в ячейках? Ведь толстовские юбилейные дни легко могут послужить толчком к объединению и организации всех врагов партии...

СТАТЬИ О ЧЕХОВЕ

Об А. Чехове и Овсянико-Куликовском [1]

I

С некоторого времени решительно каждое новое произведение Антона Чехова вызывает единодушное одобрение критиков и рецензентов всех литературных лагерей. «Замечательно! Восхитительно! Неподражаемо!»—эти слова с удручающим однообразием раздаются со всех сторон. Конечно, по отношению к писателю с такой репутацией, как у Чехова, восклицательные знаки—наиболее легкий и безопасный прием критики. Но, говорят, будто Льва Толстого порою коробит от неумеренно воскуряемого ему фимиама; и кто знает, не коробило ли по временам также и Чехова?

Овсянико-Куликовский—вдумчивый писатель, с определенным взглядом на задачи художественной критики. Его статьи, несмотря на неуклюжий язык и туманность изложения, заслуживают внимательного чтения, так как у него всегда найдете или новое освещение уже известного, или изложение принципов и наблюдений, дотоле вам неизвестных. Вот почему заслуживают внимания его фельетоны по поводу новой повести Чехова «В овраге» («Северный курьер», №№ 180 и 181).

[1] Напечатано в газете «Восточное обозрение» за 1900 г., № 216, 218 и 219.

Похвальные отзывы об этой повести успели набить оскомину; но при виде подписи Овсянико-Куликовского можно было приступить к чтению фельетонов с уверенностью, что натолкнешься не на одни только знаки препинания. Лишь воспоминание о статье того же автора о повести Чехова «Ионыч» в «Журнале для всех» за 1899 год могло возбуждать некоторое опасение: не то, чтоб первая статья о Чехове была сплошным излиянием восторгов (у Овсянико-Куликовского этого никогда не бывает), но чрезмерные восторги все-таки были, и поводы к ним не всегда можно признать удачными. Например, Овсянико-Куликовский ставил в заслугу Чехову то, что в произведениях этого художника вдумчивый читатель всегда чувствует присутствие идеала.

Идеал—хорошая вещь, но одно присутствие его еще не свидетельствует об оригинальности и потому не служит признаком развитой индивидуальности художника. В русской литературе вопросу об идеале скоро сто лет. Еще Галич, провозглашая, необходимость идеалов и убеждений, только выражал то, стремление к чему существовало в среде тогдашней молодежи. В «Евгении Онегине» «над модным словом «идеал» тихонько Ленский задремал»; Гоголь дал широкую картину русской пошлости, то есть требовал служения идеалу. Наконец, Щедрин написал целых двенадцать томов, детально и на все лады выясняя роль идеала и его антитезы—бессознательности. Преемникам Щедрина в русской литературе предстоит толковать не о служении идеалу вообще, а ратовать за проведение в жизнь идеалов определенного содержания. Настоятельность решения этой задачи с особенной настойчивостью провозглашал и сам сатирик под конец своей литературной деятельности.

Литературный обозреватель журнала «Жизнь», Андреевич, говоря о Чехове, выразился однажды так: «В передаче неопределенного и колеблющегося настроения своей эпохи, ее тоски искания, ее отвращения к готовым фразам и формулам и заключается заслуга Чехова. Это-то и делает его художником-историком, это-то и заставляет его ставить выше, например, Короленки, литературное дарование которого такая же несомненно величина, как и шаблонность его миросозерцания». («Жизнь», 1899 г., № 4, стр. 188). О Вл. Кроленко у нас теперь нет речи; но что касается Чехова, то констатировать у этого писателя присутствие стремления к идеалу значит—именно отмечать шаблонную черту его произведений. Между тем Чехов—оригинален.

Вопросы о том, очень ли велик данный писатель, или умеренно велик, или средне-велик, и кто выше, а кто ниже,—для критики в сущности праздные вопросы. Но если критик выработал себе определенные принципы для суждения о художественных произведениях, если вы признаете действительно существенными те признаки, которые критик кладет в основу своих суждений, то вы получаете

возможность давать себе отчет в том, почему одно произведение производит большее впечатление, а другое—меньшее. От критика вы имеете право требовать, чтобы, помогая вам сознательно отнестись к делу, он строго проводил свою точку зрения.

Овсянико-Куликовский провозгласил два существенных признака для признания за художественным произведением большого литературного значения: экономизацию умственной энергии и типичность содержания. Второй признак есть на самом деле частный случай первого, но случай настолько важный, что заслуживает выделения. В статье о повести Чехова «В овраге» Овсянико-Куликовский повторяет, что прогрессом в истории художественного творчества является превращение символических образов в типические, и дает такое заключение: «Невзирая на недостатки, внесенные в повесть символическими чертами, эта повесть должна быть причислена к замечательнейшим произведениям нашей литературы». Чтобы заслужить такую квалификацию, повесть должна, следовательно, представить нам один или несколько замечательных типов, дотоле неизвестных литературе. Как на таковые, указывается на Цыбукина, Анисима и Аксинью.

Но что же такое тип и в чем состоит типичность?

В статье о Пушкине Овсянико-Куликовский объясняет, как в результате движения от частного к общему создаются типы, которые, обобщая действительность, дают нам ее истолкование; из отношений различных типов к жизни определяется идея, в которой раскрывается нам какая-либо сторона души человеческой или осмысливается в частях или в целом внутренняя жизнь общества. Но Цыбукин, Анисим и Аксинья, по нашему мнению, если и типичны, то не новы, и вряд ли в них суммировано более характерных черт, чем в соответственных типах наших более ранних писателей. Но может быть, нова среда и отношение к ней чеховских персонажей? Уже из признания не новости типов отдельных лиц ясен ответ на этот вопрос, так как изменившаяся среда не могла бы повторить старые типы.

Овсянико-Куликовский не согласится, конечно, с нами. Он пытается найти существенно новые черты не только в лицах, но и в положении среды. Он уверяет, будто «глубокие наблюдения Глеба Успенского, типы кулаков в повестях и очерках Салова и др., некоторые эпизодические (?!) фигуры у Салтыкова и т. д.— все это, вместе взятое, имело смысл предостережения», то есть как изображение зла, только еще нарождающегося.

Почтенный критик забывает, что уже в то время объявлялось не только о том, что чумазый идет, но о том, что чумазый пришел. Его агенты рыщут по деревням. Мирские власти безусловно отдались в руки чумазому. «Наступил период закрепощения чумазовского». У того же Щедрина в другом месте вы можете найти следующую характеристику чумазых: «Это—ублюдки крепостного

права, выбивающиеся из всех сил, чтобы восстановить оное в свою пользу, в форме менее разбойнической, но несомненно более воровской... Это совсем не тот буржуа, которому удалось неслыханным трудолюбием и пристальным изучением профессии (хотя и не без участия кровопивства) завоевать себе положение в обществе,—это просто праздный, невежественный и притом ленивейший забулдыга, которому благодаря слепой случайности удалось уйти от каторги». Заметим еще, что идущий в гору чумазый мечтает о шитом мундире и о поездке за границу.

Рисуя кулака Цыбукина как человека без всяких нравственных правил, Чехов, по признанию самого же Овсянико-Куликовского, только подтверждает воззрение, давно установившееся в нашей литературе. Правда, старая литература зачастую изображала кулаков как людей, исключительных по уму; но если зачастую, то значит—не всегда; следовательно, и в прежней литературе можно было встретить типы людей, хищничающих не в силу своей исключительности или извращенности, а потому, что «так заведено и об ином способе ведения дела нет и понятия в той среде». Следовательно, действия Цыбукиных объясняются общим убеждением, что не обманешь—не продашь. Типы этого рода—не новость в литературе.

По словам Овсянико-Куликовского, вся суть повести Чехова в картине зла, сопряженного с возникновением новой буржуазии, и в вопросе о том, как люди относятся к этому злу.

В картине нарисованного Чеховым зла нет ничего нового. Критик сравнивает «В овраге» с «Властью земли»: там—власть земли, здесь—власть барыша, лавки, денежного оборота. Но, прочтя Успенского, вы скажете: «Из этой книги я много узнал и многое в жизни понял». А по прочтении Чехова—должны будете признаться: «Отсюда я ничего нового не узнал, и мне непонятно все, что здесь творится, начиная от общего порядка и кончая отдельными эпизодами, поскольку я узнал эти явления только из повести Чехова».

В самом деле, почему власть денег выражается в данной среде в обмере, обвесе, обсчете и фальсификации? Ведь не везде же власть капитала неразрывно связана с уголовщиной? Почему Анисим не держится профессии отца, а поступает в сыщики? Что толкнуло его на преступление? Почему он—сам сыщик—так глупо дает повод к раскрытию преступления? Почему осуждение одного из сыновей подкосило старика Цыбукина, всю жизнь вертевшегося около уголовщины? Почему Аксинья до того обозлилась из-за потери части имущества, что решилась на убийство ребенка? Почему она не подвергалась преследованию за это убийство? Почему добрые дела Варвары выражались в кормлении нищих и не выразились в заботе о полусумасшедшем Цыбукине? Таких вопросов можно предложить еще много. В повести эти неясности—не случайны, а если

случайны, то под пером Чехова, как увидим ниже, они получают совсем особое значение.

Овсянико-Куликовский утверждает, будто повесть Чехова дает понять, что возникновение темной кулацкой буржуазии есть процесс вполне самобытный, органический, неизбежный. Самобытность и неизбежность общественных процессов стали теперь общим местом, но качество, приписываемое в данном случае повести Чехова, на самом деле не существует.

«На месте нравов мы находим здесь разнузданные инстинкты». Эти слова Овсянико-Куликовского противоречат его же утверждению, что семья Цыбукиных поступает, как все: значит, таковы нравы данной среды. А описание свадьбы Анисима и Липы—разве это не описание нравов? Но из того, что Цыбукины действуют, как все люди их среды, еще не следует, что их преступления бессознательны и что эти лица нравственно невменяемы. Если верить Овсянико-Куликовскому, все «В овраге» не ведают, что творят; даже Аксинья, повидимому, не сознает своей преступности.

Бессознательность, как источник злодеяния,—эта тема постоянно разрабатывались Щедриным. Несмотря на все несходство между Чеховым и Щедриным, минутами между ними замечается какая-то трудно уловимая родственная связь. Может быть, это обстоятельство натолкнуло Овсянико-Куликовского на ошибочное приписывание Чехову того, чего нет в повести. В действительности, последняя заключает в себе немало указаний на сознательность преступлений, начиная от речей Анисима и кончая бурной сценой, устроенной Аксиньей.

«Все вы тут—одна шайка... Грабили прохожих и проезжих, разбойники, грабили старого и малого!»—выкрикивает, между прочим, та самая Аксинья, которая убила чужого ребенка и которую Овсянико-Куликовский тоже склонен считать бессознательной преступницей. Неужели Аксинья может не сознавать преступности убийства? Конечно, ее обличение—не крик проснувшейся совести, а только негодование вора, которого обидели при дележе добычи. Но из того, что она придает цену своим хлопотам, именно как соучастию в бессовестном деле, и из того, как принимают ее слова Цыбукин и Варвара, ясно, что все эти лица ведают, что творят. А добрые дела Варвары как предохранительный клапан? От чего они предохраняли? Всем в доме становилось легче от присутствия этой благотворительницы, деятельность которой являлась противовесом грабежу—всем, то есть главным образом, а может быть—и исключительно, рыцарям грабежа. Потребность в этом противовесе—новое доказательство того, что зло творилось не бессознательно.

Но если не хищники, то, может быть, их жертвы не сознают бессовестности действий Цыбукиных? Нет. Во время свадьбы Анисима со двора доносится крик: «Насосались нашей крови, ироды. Нет на вас погибели!»

Овсянико-Куликовский введен в заблуждение словами Костыля: «В ихнем (цыбукинском) деле без этого нельзя... без греха то есть».

Грех—понятие вполне определенное по отношению к вопросу о совести, и слова Костыля—плохая защита Аксиньи; они скорее указывают на осуждение всей среды. Ниже мы покажем, почему Чехов, в силу основных особенностей своего творчества, и не мог положить бессознательность в основу зла, описанного в повести.

II

Овсянико-Куликовский отмечает, как новую, подмеченную Чеховым черту, от обстоятельство, что у Цыбукина рождается потребность ввести если не этический, то эстетический элемент в семейные отношения: на жену (Варвару) смотрят не как на рабочую силу или вообще полезность, а как на украшение дома. В том, что Варвара подавала милостыню, было что-то новое, что-то веселое и легкое, как в лампадках и красных цветочках. Однако лампадки как предохранительный клапан против угрызения собственной совести всегда бывали. Ново только то, что лампадка заменена красивой женой, расточающей осьмушки чаю. Это новое так мало, что из-за него не стоило и повесть писать. К тому же жена-благотворительница взята из «хорошей» семьи, а что такое хорошая семья по понятию Цыбукиных? О приданом за Варварой Чехов не упоминает, но это только одна из бесчисленных недомолвок и двусмысленностей нашего писателя.

Беллетристы-реалисты употребляли все усилия, чтобы сделать ясными малейшие изгибы души своих персонажей. Как бы предвосхищая развившееся позднее учение о наследственности, наши романисты 40-х годов доходили чуть не до седьмого колена предков своего героя. Этот прием кажется теперь излишней крайностью, но на самом деле указанные писатели исходили из правильно понятого принципа всякого психологического (в том числе и художественно-психологического) исследования волевых актов. Психологическое понимание волевого акта основывается на возможности подметить и шаг за шагом проследить ход развития индивидуума до самого момента его действия. Это, конечно,—идеал, к достижению которого можно только приближаться в большей или меньшей степени.

Если эту мерку приложить к повести Чехова, то это произведение окажется ниже всякой критики: здесь многое неясно, двусмысленно, и в действиях персонажей часто недостает последовательности. Между тем, повесть читается с увлечением и оставляет впечатление. Очевидно, мерка реальной повести к ней не приложима, и ключа к объяснению ее успеха нужно искать в чем-то другом. Может быть, в поисках за этим ключом мы точнее определили бы литературное и общественное значение произведений Чехова. Это

было бы во всяком случае интереснее и поучительнее восклицательных и иных знаков препинания.

В столичных газетах есть хроника городских происшествий. Это—дневник несчастных случаев, краж, пожаров, убийств, самоубийств и т. п. Прочтите этот дневник за любой день и предположите, что вам пришлось лично быть свидетелем всех этих происшествий: едва вы попытались объяснить себе одно из них, как вас отвлекает другое, потом третье, четвертое... Ваша нервная система будет потрясена, и сознанию не скоро удастся отделаться от назойливых вопросов: как это случилось, почему, зачем? Я не хочу сказать этим, что повесть Чехова—распространенная хроника городских происшествий, но этот газетный отдел недаром вспоминается при чтении повести: в ней перед глазами читателя проходят две кражи, арест фальшивомонетчиков, убийство и сумасшествие. Прибавьте к этому, что фальшивомонетчиками оказались сыщики.

Сыщик—один из благодарнейших персонажей бульварных романов. У нас эта профессия облечена еще большей таинственностью, чем где бы то ни было, и появление сыщика в повести сразу заинтриговывает. Чехов—не бульварный романист, и это еще усиливает надежду найти в повести что-то совсем новое. К тому же сыщик Анисим появляется перед читателем чем-то встревоженный... Через две страницы он, уезжая из дому, держал себя не так, как прежде,—был как-то особенно развязен и говорил не то, что нужно.

На следующей странице в манерах сыщика опять проявляется что-то особенное. Через две страницы, венчаясь, он молится о том, чтобы какие-то несчастья, готовые разразиться, как-нибудь обошли его. Еще через пять страниц Анисим признается: «Меня Самородов (сослуживец) впутал в одно дело: богат буду или пропаду». Уже во второй половине повести обнаруживается подделка денег, но виновный еще не найден. Цыбукин догадался, кто это, и приказал Аксинье бросить в колодец полученные от сына монеты; Аксинья раздала их рабочим. Дальше хроника этого городского происшествия уступает место другим: убийству и сумасшествию. Для тридцати пяти страниц повести всех этих внешних эффектов более чем достаточно, но, конечно, не ими одними поддерживается интерес.

Овсянико-Куликовский признает, что существенная часть повести—картина зла. Можно заметить, как общее явление, что если картины добра и счастья влекут за собой ряд соответственных представлений, то картины зла и горя вызывают не детализирование сцен и не дополнение к ним, а представление о тех силах или действиях, которые могут или должны устранить зло и горе. Если в беллетристическом произведении, изображающем отрицательные стороны жизни, ясны причины зла, то этим до известной степени

предопределяется тот ряд представлений, который будет вызван в уме читателя.

Не то получается от чтения повести Чехова. Зло очевидно, но представления, вызываемые проходящими перед глазами действиями, могут быть самые разнообразные и даже взаимно исключающие друг друга, в зависимости от миросозерцания читателя. Перед глазами одного мелькнет проповедник в священническом облачении, сопутствуемый или не сопутствуемый становым приставом; перед глазами другого—земский начальник, освобожденный от всех стеснений закона; перед глазами третьего—легион сыщиков, но не безграмотных, как Анисим, а сыщиков с университетским значком на груди и благородством во взорах; перед глазами четвертого—помещик доброго старого времени. Людям иных воззрений может представиться картина школ всякого рода, библиотек, читален и народных театров; перед глазами несколько иного оттенка мыслей промелькнут сцены митингов на западно-европейский образец, собрания членов профессиональных союзов, заседания съездов; наконец, может быть, перед кем-нибудь пронесутся бурные уличные столкновения. Из людей, глубже проникающих в причины общественных явлений, одним представятся на месте фабрик поля с интенсивной земледельческой культурой, другим—одна большая фабрика на месте нескольких маленьких.

Различные впечатления произведет повесть на людей разных настроений: добрый человек получит от нее новый толчок к борьбе со злом, разочарованный—подтверждение мысли о непреодолимости зла. Человек с общественными инстинктами и индивидуалист, мизантроп и филантроп—каждый найдет себе оправдание у Чехова, каждый будет хвалить нашего талантливого беллетриста за то, что он будит мысль и дает несколько минут или часов эстетического наслаждения.

III

Неудивительно после этого, что Чехов сотрудничает в «Жизни» и в «Ниве», что издает его Суворин, а одобряет Струве и в самое последнее время—Н. К. Михайловский. Но любит ли кто-нибудь Чехова так, как любят Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Некрасова, Салтыкова, Гл. Успенского, Надсона, Л. Толстого, а из новейших—Короленко, Горького,—то есть как выразителя задушевнейших дум и стремлений читателя? Сомневаюсь. Не приложимы к Чехову, с другой стороны, и слова поэта: «Со всех сторон его клянут, и, только труп его увидя, как много сделал он—поймут, и как любил он, ненавидя». Чехова никто не клянет.

Высота произведения искусства определяется количеством и яркостью представлений, вызываемых у зрителя или слушателя. Представления первого порядка—это те, которые непосредственно относятся к содержанию произведения; представления второго по-

рядка связаны с данным произведением искусства только тем, что явились в результате того течения образов и мыслей, первоначальный толчок которому дан этим произведением. Яркость образов, полнота и ясность содержания произведения определяют интенсивность течения представлений в определенном направлении.

Существуют искусства с определенными ассоциациями представлений (живопись, поэзия и т. п.) и искусства с неопределенными ассоциациями представлений (например архитектура и музыка). Музыка передает не образы и не чувства, а лишь характер движения. Содержания ассоциаций музыка не предопределяет. Одна и та же музыкальная пьеса действует на разных слушателей в различном направлении, в зависимости от их предшествующего настроения. Одна и та же музыкальная пьеса может доставлять одинаковое по силе наслаждение лицам самых разнообразных характеров, возрастов, положений, настроений и т. п. В инструментальном исполнении «Марсельеза» одинаково нравится и в Париже, и в Петербурге; но более чем сомнительно, чтобы Петербургу понравилось вокальное исполнение этой пьесы.

Повесть Чехова «В овраге»—это тоже своего рода произведение искусства с неопределенными ассоциациями представлений. Неопределенность эта, конечно, очень относительная и касается только ассоциаций второго порядка. Повесть нарушает принципы, установленные эстетикой; но она читается с интересом, производит впечатление и, следовательно, имеет право на существование. Может быть, оригинальность Чехова в том именно и состоит, что он сблизил две категории искусства, дотоле резко обособленные, и этим увеличил число способов эстетического наслаждения. Но для достижения этой цели Чехову пришлось пожертвовать очень многим...

Ал. Ст. Молчалин,—это олицетворенное общественное безличие,—и тот в откровенную минуту признается, что «нельзя без взгляда... Вот о турецких делах читаешь—и тут взгляд себе составляешь... Мы, публика, взгляды составляем, а начальство возьмет да взгляды наши и поправит!» Мы не имеем основания приписывать Чехову как человеку молчалинские качества; как писатель он тоже не Молчалин, ибо не представляет начальству поправлять свои взгляды. И если в его произведениях отсутствует не только общественное миросозерцание, но даже и простой «взгляд на турецкие дела», то это, очевидно, делается искусственно. Искание идеала ведет к увлечениям и сознанию ошибки. У Чехова нет ни того, ни другого. При чтении повести так и кажется, что автор при отделке ее старательно вытравлял все, что носит характер определенности во взглядах на общественные формы. Даже наименее умеренный панегирист Чехова Андреевич, говоря об оригинальности нашего беллетриста, отмечает не идейное содержание его произведений, а особенности стиля, выдержанность тона и настроения.

Овсянико-Куликовский указывает, что, обрисовав тьму кромешную жизни «В овраге», Чехов посредством намека или символа дает понять, что на Руси кроме зла созидается и что-то доброе. Вы ждете, что в этом намеке должен блеснуть яркий поэтический образ, который как молния осветит дорогу, ведущую вон из оврага, и в то же время раскроет заветный уголок души автора. Ничуть не бывало.

Вот в сокращенном виде это символическое место: «Было и дурное, было и хорошее. Вот и помирать не хочется, милая, еще бы годочков двадцать пожил; значит, хорошего было больше. А велика матушка Россия!» Для старика-крестьянина нежелание умирать значит именно то, что он думает; но мы объясняем себе это нежелание просто отсутствием в животном организме физиологической основы для инстинкта смерти.

И если даже фразу «велика Россия» понимать не в смысле пространственной величины,—хотя из контекста повести скорее можно думать, что речь идет именно о пространстве,—все-таки символ Чехова, взятый отдельно от поэтического описания летней ночи,—самая шаблонная архипроза. А проза получилась оттого, что поэтический образ не мог бы обойтись без содержания. По этой же причине Чехов не может, вопреки мнению Овсянико-Куликовского, выводить злодеяния людей из бессознательности, ибо бессознательность предполагает для борьбы с собой сознательность, то есть идеал определенного содержания.

Повесть Чехова могла бы вполне удовлетворить только читателя того времени, когда еще думали, что герои творят среду, или что мыслима личность вне среды, человек в чистом виде. Но опровержение такого взгляда и господство исторической точки зрения на всякие явления вошли в плоть и кровь человека XIX века. Отрешение от общественных форм стало невозможно для художника-психолога реальной школы. Основная ошибка панегиристов Чехова в том, что они прилагают к нему ту же мерку, которая обыкновенно прилагается к беллетристам-реалистам. Эта мерка к повести Чехова не приложима; не важно, как мы назовем чеховскую манеру писать—неореалистической или символической, или лирической, или специфически чеховской. Это будет спор о словах.

Во всяком случае Чехов не открыл таких новых путей, по которым могло бы пойти в будущем все- художественное творчество. Старый реалистический роман с определенным общественным мировоззрением и с ясной причинной последовательностью событий отвечает существенной потребности духа людей известного умственного развития и, однажды создавшись, не может исчезнуть. От Чехова, как от музыканта или архитектора, нет надобности требовать определенного мировоззрения. Может быть, наличность последнего была бы ценным приобретением для людей

того направления, к которому примкнул бы Чехов. Но этот Чехов уже не был бы нынешним Чеховым.

Андреевич спутал чеховское преднамеренное отсутствие мировоззрения с оригинальностью такового, а наличность мировоззрения у Короленки—с шаблонностью: и шаблонность Короленки, и оригинальность Чехова—плод воображения Андреевича.

Овсянико-Куликовский чувствует силу творчества Чехова, но неправильно истолковывает ее характер. Основная ошибка этого критика в том, что, прилагая к Чехову реалистическую мерку, он видит в повести не то, что в ней действительно есть, а то, что должно было заключаться в хорошем беллетристическом произведении реальной школы.

Литературные противоречия [1]
(О «Трех сестрах» А. Чехова)

Перед вами три сестры. Приметы каждой из них следующие:

Первая: зовут Ольгой, платье синее, учительница, рада выйти замуж за кого угодно.

Вторая: зовут Марьей, платье черное, без занятий, замужняя.

Третья: зовут Ириной, платье белое; сперва скучает без дела, потом скучает от дела; мечтает о любви, но по молодости лет не в такой мере, как первая.

Главная примета—платье, так как все сестры должны появляться на театральных подмостках и могут быть перепутаны зрителями. Индивидуальность сестер так мало развита, что они могут обменяться всем, кроме платья: Ольгу можно бы выдать замуж, Марью определить в телеграфистки, Ирину сделать учительницей и т. п. Ничто также не мешает к трем сестрам добавить еще пару—Агафью и Татьяну и выпустить их на сцену, нарядивши в красное и зеленое платья.

Приметы, общие всем трем сестрам: 1) живут в губернском городе при железной дороге, в средствах не нуждаются, вечно едут в Москву и никак не доедут; 2) плачут по всякому поводу и без повода, заражая своей слезливостью окружающих.

Пьеса г. Чехова «Три сестры», с реалистической точки зрения не выдерживающая никакой критики, имела большой успех на сцене московского Художественного театра и не меньший—в исполнении артистами того же театра перед петербургской публикой. В этом первом противоречии стоит разобраться.

Рецензент «Русских ведомостей» (№ 33) затрудняется решить, кому пьеса обязана успехом: автору или артистам. Неестественность и немотивированность действия сразу бросились в глаза рецензенту. Почему, спрашивает он, томятся и тоскую действую-

[1] Напечатано в газете «Восточное обозрение» за 1901 г., № 168.

щие лица пьесы? Почему они не делают активных шагов к достижению лучезарной в их глазах Москвы? Далее, рецензента поразило обилие томительных, надрывающих истеричных сцен. По рассказу Слово-Глаголя («Жизнь», 1900 г., № 12), московский Художественный театр ставит своею почти исключительной задачею—вызвать в зрителе определенное настроение. Идея, типы, реальность формы и самая техника произведения имеют при этом значение лишь постольку, поскольку они сводятся к одному настроению, проникающему пьесу. К одной цели—вызвать цельное настроение—подгоняется все исполнение. Представьте себе, что талантливая труппа все четыре акта непрерывно плачет, ее плач неизбежно заразит зрителей, и трудно будет разобраться, что в этом случае нужно отнести за счет эстетической эмоции и что на долю простого рефлекса.

Чехов, нужно отдать ему справедливость, не щадил слезных желез артистов: в ремарках до пятидесяти раз поясняется, что лицо смеется сквозь слезы, говорит со слезами плачущим голосом, вздыхая, плача, громко рыдая, сильно рыдая, сдерживая рыдания; плачут с горя, от радости и от нечего делать; плачут из-за разбитых часов, из-за того, что офицер надел штатское платье, оттого, что человек (почти незнакомый) постарел, и т. д. Зрителю нужно иметь воловьи нервы, чтобы не ответить рефлективными слезами на этот общий вопль. Для усиления эффекта за сценой несколько раз начинает играть музыка. Такого сплошного и плохо мотивированного плача в жизни не бывает, и в этом основной грех пьесы с точки зрения реальности ее содержания. Но к г. Чехову вообще реалистическая мерка не приложима, как мы уже пытались выяснить, говоря о его повести «В овраге».

Упомянутый рецензент «Русских ведомостей» находит, что «Три сестры»—не бытовая драма, а пьеса философско-символическая. За склонность к символизму осуждает г. Чехова Овсянико-Куликовский. Андреевич употребляет выражение: «гашиш символизма», гашиш, то есть наркотик, временно возбуждающий, но в конце концов разрушающий организм. Напомним, что Андреевич наименее умеренный из панегиристов Чехова.

«Три сестры» напечатаны в «Русской мысли». В том же номере журнала Россолимо выражается о символизме еще резче Андреевича. Символизм, по его словам, употребляется там, где недостает цельных художественных образов для передачи эстетической эмоции,—он оказывает услугу душевнобольным; где символы служат для облегчения передачи при скудности художественного творчества, они суть символы эстетической нищеты; символизм—проявление паталогического состояния в современном искусстве. В другом номере того же журнала г. Виталис требует от большого художника не только настроения, но и определенного миропонимания.

Итак, символизм—наркотик, признак эстетической нищеты, па-

тологическое явление; Чехов—символист; Чехов имеет крупный успех. Вывод: наибольшим успехом среди русских читателей пользуется представитель эстетической нищеты. От первого противоречия мы пришли ко второму.

Ибсен—символист более определившийся, чем Чехов, и на нем удобнее выяснить некоторые характерные черты символического творчества. По поводу повести Чехова «В овраге» мы говорили, что читатели могут сделать из нее какие угодно выводы, противоречащие один другому. Но символизм этой повести не сразу бросается в глаза. Двусмысленность или, вернее, многосмысленность символических произведений подтверждается примером разноречивого толкования такого сильного произведения, как «Враг народа» Ибсена. Перед вами доктор Штокман, объявленный врагом народа за то, что он не способен на компромиссы и готов всем, собой и семейством жертвовать ради того, что он однажды признал за истину. Борьба между долгом (провозглашение истины), с одной стороны, желанием личного успеха, чувством любви к детям, к жене—с другой,—это основной элемент трагического. Долг победил, Штокман поднялся до высших ступеней героизма.

«Борись неуклонно за истину, хотя бы толпа не понимала ее и объявила тебя врагом народа»,—таков принцип, символом которого является Штокман. Он доктор, это случайность. Бороться за истину может и должен человек всякой профессии. Представьте же, что на сцене московского Художественного театра, если верить Ив. Иванову и Сементковскому, из Штокмана сделали комический персонаж. Как объяснить себе возможность такого искажения?

Нам кажется, что если смотреть на Штокмана не как на символ, а как на реальное лицо, то, пожалуй, его пафос в борьбе за санитарные условия и меры ассенизации действительно может производить несколько комическое впечатление. Но ассенизация и санитарный вопрос в драме—первая попавшаяся автору под руки почва, на которой разыгрывается действие. Реальны здесь не вопросы медицины, а факт борьбы за истину и психологические перипетии этой борьбы. Таким образом, символизм, выражаясь словами Гюйо, есть «отчасти реализм»: без реалистического зерна символическое произведение обратилось бы в продукт сочинительства пациентов психиатрической лечебницы. Пока зерно реализма сохраняется, мы не в праве говорить о символизме как о наркотике или как о проявлении эстетической нищеты. Выяснение того, почему «отчасти реализм» может предъявлять законное право на место в художественной литературе, завлекло бы нас слишком далеко. Раньше, чем вернуться к Чехову, расскажем до конца любопытную историю непонимания драмы Ибсена.

Справедливо осуждая заодно с Ив. Ивановым московских артистов за искажение пьесы, Сементковский неожиданно договаривается до такого рода прелестной тирады:

«В словах г. Иванова заключается несомненно горькая правда, но есть в них много лжи. Когда собственно было у нас время, о котором он говорит (то есть когда люди идеала не казались неестественными)? Не при Гоголе ли, когда великий наш писатель чуть было не был признан сумасшедшим за свою переписку с друзьями, когда его Костанжогло или Муразов признаны были всею критикой типами отвлеченными и неестественными? Не тогда ли, когда и Тургенев, и Достоевский, и Писемский, и Гончаров подвергались нападкам,—нет, скажем прямо,—гонению,—за то, что они согрешили «Отцами и детьми», «Новью», «Бесами», «Взбаломученным морем», «Обрывом»? Разве и их герои не были признаны «отвлеченными и неестественными» именно потому, что они не соответствовали взглядам либерального общественного мнения? Разве не повторилось то же самое и с Лесковым?»

Сементковский путает, приравнивая к Штокману то авторов, то героев их романов. Далее он приводит речь Штокмана, начиная со слов: «Самый опасный враг правды и свободы—это сплоченное большинство. Да, это проклятое, сплоченное либеральное большинство»—и кончая словами: «Либералы—худшие враги всякого свободного человека». Свою мысль Сементковский поясняет цитатой из Шиллера: «Что такое большинство? Большинство—это неразумие: умом обладают только немногие... То государство должно рано или поздно погибнуть, в котором большинство побеждает и неразумие решает». Теперь читателю, надеемся, стало ясно, что Сементковский негодует на либеральную критику за ее нападки и «гонения» не на героев упомянутых им романов или на прототипы этих героев, а за нападки на авторов. Не поздоровится Штокманам и Ибсенам от таких защитников. К счастью, Штокман без труда мог бы опровергнуть клевету Сементковского. Он сказал бы:

«Я хотел бежать от либерального большинства не туда, где был библейский рай и где в наше время—уголок рая для всех ненавистников прав человека, не в Персию и не в Турцию, а в Америку, где либеральное большинство ничуть не слабее, чем в моем родном норвежском городке. Но мысль о бегстве—момент упадка духа. Я решил остаться и бороться в том самом месте, где меня объявили врагом народа. Я хочу бороться, то есть войти в общение с толпой и поднять ее до своего уровня. Либералов я ненавижу, а турецко-персидского антилиберализма не могу даже ненавидеть: ненавидят человеческое, а не звериное».

Одиночество Штокмана нужно понимать условно. Люди могут стать одинокими, потому что им самим ни до кого, кроме себя, нет дела: Штокман не из их числа. Другие остаются в одиночестве, поклоняясь идолу прошлого: жизнь уходит от них; фигура последнего могикана может иногда импонировать: недавно умер-

ший Штумм,—оставляя в стороне силу его капиталов,—был в своем роде крупною личностью; Штокман—не Штумм.

Остается третий вид одиночества, когда человек так далеко заглянул в будущее и воодушевлен такими высокими идеалами, что неспособная понять толпа забрасывает его каменьями. Такого одинокого человека и пытался изобразить Ибсен в лице Штокмана. Сила в одиночестве—это значит, что, только порвав все связи прошлого и пренебрегши традиционными условностями, можно отрешиться от сделок с совестью и целиком отдаться дорогой идее, в которой для человека идеала воплощается высшая правда. Как видите, это вещи, совершенно противоположные тем, за которые ратует Сементковский. (В ложном толковании виновата неясность символических произведений.)

Как бы ни страдал символизм двусмысленностью или многосмысленностью, символическое произведение может дать удовлетворение, но при непременном условии, чтобы читатель нашел в символе защиту дорогого ему принципа. Возвращаясь к Чехову и его панегиристам, мы натолкнемся на новое литературное противоречие.

Возьмем для примера Андреевича, печатающего свои статьи в прогрессивном журнале «Жизнь». В февральской книжке этот критик дает следующую характеристику любимого своего писателя. Чехов—поэт тоски и неверия; призыва к борьбе у него нет; ощущение полной ненужности, бесцельности жизни остается после всякого его рассказа; о грядущих лучших днях у Чехова говорят лишь самые глупые люди (?), люди, вроде полковника Вершинина («Три сестры»); нет просвета и нет дороги, выход из такого положения—самоубийство или жизнь, горшая смерти.

Далее, по словам Андреевича, Чехов видит в жизни только следы разрушения, обуглившиеся обломки, вырождение. Следовательно, был в прошлом золотой век, была жизнь, которая разрушилась, сгорела, выродилась,—взоры Чехова обращены к прошлому. Куда же обращены взоры Андреевича? К дореформенной России? к Московской Руси? к удельному периоду?

Андреевич приводит речь Сони: «Когда наступит наш час, мы покорно умрем, и там, за гробом, мы скажем, что мы страдали... и мы... увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастия оглянемся с умилением, с улыбкой и отдохнем».

Таким образом, Андреевич не совсем прав, уверяя, что у Чехова нет просвета. Мысль о воздаянии за гробом не нова: для решения вопросов о спасении души существуют специальные издания. Мы же пишем в светской газете и потому будем продолжать говорить о земных делах.

Мы думаем, что в последнем определении литературной физиономии Чехова Андреевич сделал шаг назад по сравнению с

недавним прошлым. Тогда наш критик видел в Чехове не поэта неверия и безнадежности, а поэта тоски по идеалу. Последнее определение, в форме пожелания, раньше Андреевича дано было Чехову Михайловским: если у Чехова нет определенных идеалов, «то пусть он будет хоть поэтом тоски по общей идее и мучительного сознания ее необходимости» (соч. Михайловского, т. VI, стр. 784). В прежних статьях Андреевич хватил немного через край, приписывая Чехову, кроме тоски по идеалу, еще и определенное миросозерцание; теперь он ударился в другую крайность, характеризуя Чехова как поэта безнадежности.

Не будем, впрочем, строги к Андреевичу. Рецензент «Русских ведомостей» также впадает в заблуждение, толкуя, например, Москву («Три сестры») как «символ далекого лучезарного идеала». Таково было первое впечатление зрителя, и если при более близком рассмотрении драмы оно окажется неверным, то винить в этом прежде всего приходится автора.

На самом деле Москва в драме—не идеал, а символ невозвратного прошлого. С представлением о Москве у сестер связан не план или мечта о новых условиях жизни в ней, а только воспоминание о минувшем.

Ольга вспоминает: «В начале мая, вот в эту пору, в Москве уже все в цвету, тепло, все солнцем залито. Одиннадцать лет прошло, а я помню все, как будто выехала вчера. Сегодня утром проснулась, увидела массу света, увидела весну, и радость заволновалась в моей душе, захотелось на родину страстно... Выходят каждый день по капле сила и молодость. И только растет и крепнет одна мечта—уехать в Москву».

Не менее определенно витает в прошлом мысль Ирины: «Куда все ушло!.. Жизнь уходит, никогда не вернется... никогда мы не уедем в Москву!»

Маша говорит сквозь слезы старому московскому знакомому: «У вас были тогда только усы... О, как вы постарели!» Эти слезы по поводу выросшей бороды могут быть несколько оправданы только как результат скорби о невозвратности минувшего.

Если символизм есть «отчасти реализм», то какова доля этого реализма, необходимая для того, чтобы символическое произведение не обратилось в бессвязный бред? Трудно ответить на этот вопрос, пока символизм не сказал своего последнего слова. Во всяком случае, можно предъявить следующее требование: как символ, составляющий центральную часть произведения, так и отношение к нему действующих лиц не должны слишком противоречить нашим представлениям о реальных условиях. В этом отношении Москва, как символ прошлого, избрана не совсем удачно. Москва должна бы быть недостижима, как прошлое—невозвратно; но Москва реальная—место, очень легко достижимое для состоятельного жителя губернского города, стоящего при железной дороге. Ве-

роятно, Москва как символ соблазнила Чехова тем, что она удобна для символизации прошлого России.

Прошлое невозвратно. Что же представляет собою настоящее? Чем наполнить жизнь, чтобы почувствовать удовлетворенность? Чтобы ответить на этот вопрос, Чехов и вывел на сцену трех сестер Прозоровых.

Начнем с Ирины. Она моложе других, меньше знает жизнь и легче питается иллюзиями, как бы символизируя собою наиболее молодое поколение. Обыкновенно люди (толпа) находят смысл жизни в той или иной комбинации трех начал: трудового, семейного и начала материального благополучия, освобождающего от обязательного труда. В последнем из трех начал Ирина, впрочем, уже успела разочароваться,—праздность давит ее: «Оттого нам невесело и смотрим мы на жизнь так мрачно, что не знаем труда». Она тешит себя мыслью, что труд, каков бы он ни был, принесет успокоение.

Автор ни минуты не позволяет читателю тешиться этой иллюзией, он заставляет учительницу Ольгу говорить: «Как это приятно: завтра свободна, послезавтра свободна!» Ольга готова бежать от труда, она тоскует по семейной жизни.

Может быть, и для Ирины читатель нашел бы исход в замужестве, но Чехов спешит познакомить нас с замужней сестрой Машей и братом Андреем: видя такие примеры, немного хорошего ждешь от сватовства Тузенбаха к Ирине, которая меняет одно занятие за другим, не находя удовлетворения.

Таким образом, ни семья, ни труд, ни праздная сытость не дают исхода.

Остается воскрешение минувшего золотого века—Москвы; но «все идет не по-нашему», и остается примириться с фактом, что прошлое невозвратно: «В Москве, значит, не быть... Я так и решила: если мне не суждено быть в Москве, то так тому и быть Значит—судьба. Ничего не поделаешь. Все в божьей воле».

Из этих слов можно бы заключить, что для сестер один исход,— тот, что рекомендован Соней в «Дяде Ване». Но перенесите центр своего внимания на заключительную сцену пьесы, взгляните на сестер Прозоровых как на олицетворение общества, подвергшегося ломке со стороны быстро изменяющихся условий жизни,— перед вами получится совсем новая картина и откроется новый смысл пьесы.

Помните ли, у Достоевского рассказывается о музыкальной импровизации, состоящей из соединения «Марсельезы» и «Mein lieber Augustin»? Импровизация начинается торжественной «Марсельезой», звуки пошлой «Augustin» врываются в нее робко, потом смелее и наконец окончательно побеждают. В конце драмы Чехова подобное же соединение двух мотивов: страдание готово достигнуть кульминационной точки, когда извне раздаются звуки

веселого марша. Под влиянием этих звуков близкие к отчаянию сестры Прозоровы возвращаются к жизни. Они стоят, прижавшись друг к другу, и говорят последовательно, так что их речи служат продолжением одна другой. В восклицании Маши: «Надо жить, надо жить!»—слышится усталость, чувствуется еще, что жизнь—бремя. Вторая речь (Ирины) звучит смутной надеждой на что-то в будущем, а пока высказывается истерически выраженная мечта о труде как о средстве заглушить тоску. Наконец, Ольга уже жаждет жизни, жалеет о краткости земного существования, боится грядущего забвения. Жизнь—страдание, но «страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена! Будем жить! Музыка играет так весело, так радостно, и кажется, еще немного—и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем... Если бы знать, если бы знать!»

В этих трех речах—три миросозерцания, расположенные в восходящем порядке. Сначала «жить надо» только потому, что жизнь дана, и самоубийство не может быть рекомендовано как общий исход; это—жизнь бессознательная, без стремления осмыслить ее. Во второй речи чувствуется пробуждение сознания, стремление к чему-то, тоска, для заглушения которой остается прибегнуть к труду без цели, как к своего рода наркотику. Устами третьей сестры автор заявляет, что никакими наркотиками не спасешься, и что единственный исход—отыскание или по крайней мере искание смысла жизни, то есть активные шаги к удовлетворению той потребности, пробуждение которой чувствуется во второй речи. В последних словах Ольги слышится какой-то особенный трепет, точно вот-вот явится на свет эта столь жадно искомая истина, которая минуту назад казалась недоступной.

Недавно все мечты сестер обращались к прошлому. Но оказывается, что прошлое невозвратно («Не видать нам Москвы»,— причем Москва является олицетворением прошлого России). Когда мечты о возврате прошлого рушились и—казалось—ничего не оставалось, кроме самоубийства или медленного умирания (для общества в целом—вырождения), вдруг жажда жизни (еще не сознанные жизненные силы общества) делает свое, и глаза открываются: смысл жизни не в возврате потерянного рая, а в служении неизвестному, но светлому будущему. Не бойтесь страданий, выпадающих на долю борцов за идеал. Вот вам спокойная на вид жизнь Прозоровых, но она хуже всей каторги и лишена даже единственно возможного утешения—сознания, что эти страдания не бессмысленны. Зато сколько света и радости в том будущем, к которому читатель уже подготовлен отчасти речами Вершинина и Тузенбаха! Остается сделать последний шаг, вглядеться в какую-то светящую точку, и мы узнаем, зачем мы

живем, зачем страдаем». Найти идеал—такова главная задача современности.

Развитая нами точка зрения—единственно благоприятная для Чехова; только при таком толковании пьеса получает серьезное значение, и заслуживают извинения ее многочисленные несообразности и утрировки, бьющие в глаза в случае приложения к ней реалистической мерки; только при таком взгляде Чехов не будет заслуживать упрека ни в бесплодной игре на нервах, ни в проведении реакционных тенденций.

Но тут-то и вскрывается опять слабая сторона символизма—его двусмысленность. Вспомним, что рецензент «Русских ведомостей» понял «Москву» как идеал будущего, а Андреевич заявил, что Чехов вкладывает мечты о лучшем будущем только в уста ограниченных людей, то есть Андреевич проглядел значение речей Вершинина и Тузенбаха как подготовки к заключительным словам Ольги. Если отвергнуть наше толкование и видеть в сестрах индивидуальные характеры, то последняя речь Ольги окажется искусственным придатком, пришитым к пьесе белыми нитками.

В заключение считаем нелишним сделать одно замечание по адресу Чехова. Если, символизируя в сестрах все русское общество, он говорит еще только о возможности открыть смысл жизни, то он, следовательно, признает неудовлетворительными все уже найденные—или признаваемые за таковые—смыслы. Точно ли все идеалы, которые освещают жизненный путь идейных людей нашего времени, заслуживают такого пренебрежения? Если Чехов находит, что заслуживают, то остается пожелать ему скорее найти идеал, который удовлетворил бы его самого, и предложить затем перейти в своей литературной деятельности от разочарования и проповеди искания идеала вообще к борьбе за идеалы определенного содержания.

P. S. Статья уже была отослана в редакцию, когда получился № 3 «Мира божьего». Мы ошиблись в предположении относительно того, в чем именно московские артисты могли увидеть комические черты личности Штокмана. Лица, прочитавшие как нашу статью, так и статью А. Б. в «Мире божием», могут видеть, что эта ошибка является лишь новым подтверждением тезиса о многосмысленности символических произведений; а только ради выяснения этого тезиса мы и завели речь о Штокмане. Вместе с тем следует признать, что гг. Иванов и Сементковский несправедливы в своих упреках: никакого искажения пьесы Ибсена московская труппа не совершила.

А. В. КОЛЬЦОВ [1]

Алексей Васильевич Кольцов родился в 1809 году и умер в 1842 году, всего 33 лет от роду. Принято говорить, что Кольцов—«поэт из народа». Пора отбросить это выражение в применении к нему.

Для барско-дворянской «интеллигенции» своего времени, владевшей целыми деревнями крепостных крестьян, А. В. Кольцов действительно казался «человеком из народа». Для этих барских сынков, на обучение которых тратили громадные средства, он действительно мог являться неучем, самоучкой. Нам приходится говорить о нем иначе.

А. В. Кольцов родился и вырос в буржуазной семье и сам всю жизнь занимался торговлей скотом. Семья его пользовалась не только наемным, но и крепостным трудом: в доме держали крепостную прислугу, купленную на имя знакомых дворян (купец не имел права покупать крепостных на свое имя). И когда будущий поэт полюбил одну из крепостных девушек своего отца, родитель не нашел ничего лучшего, как продать эту девушку, точно скотину.

Получил будущий поэт и некоторое образование: сначала на дом к нему ходил учитель, а затем мальчик учился в школе. Рабочие и крестьяне на Руси даже через сто лет после того могли только мечтать для себя и своих детей о таком «невежестве».

Несмотря на свое буржуазное происхождение и буржуазную жизнь, А. В. Кольцов вполне правильно носит имя народного поэта: и это потому, что душа его лежала к простому народу, к крестьянину и бобылю, к несчастному, забитому и обездоленному человеку, а не к сытому угнетателю. Это стремление души и нашло себе яркое выражение в песнях Кольцова.

В этих песнях, как и вообще в лирике нашего народного поэта, резко бросается в глаза одна черта: стремление и способность проникать в душу других людей, становиться на их точку зрения и выражать их чувства и настроения.

Возьмите первые его, юношеские песни. О чем в них речь? О чувствах ли юноши из сытой, буржуазной среды? Совсем нет! Перед вами мысли и чувства девушки, старика, бездомного бедняка.

В первых же песнях юноша вздыхает о любимой девушке, а девушка спрашивает:

Люди добрые, скажите,
Люди добрые, не скройте
Где мой милый? Вы молчите!
Злую ль тайну вы храните?

И в другой песне:

Без него для меня
Ты (кольцо) не надобно;
Без него на руке
Камень на сердце,
Что взгляну, то вздохну,
Затоскуюся.
И зальются глаза
Горьким горем слез.

Не менее сильно проникновение поэта и в чувство молодой женщины, выданной замуж за богатого по расчету:

Пусть из-за моря
Корабли плывут,
Пущай золото
На пол сыпится:

Не расти траве
После осени!
Не цвести цветам
Зимой по снегу!

Юноша-поэт стремится проникнуть и в душу старика, рисуя его безнадежные мечты:

Оседлаю коня,
Коня быстрого,
Я помчусь, полечу
Легче сокола.

Но увы! нет дорог
К невозвратному!
Никогда не взойдет
Солнце с запада!

Но больше всего, очевидно, душу поэта занимала судьба людей бездомных или задавленных трудом и нуждой крестьян.

И опять мы имеем дело не с описаниями постороннего наблюдателя, а с рассказом как бы самого бедняка.

Вот «Размышление поселянина», которому «на восьмой десяток пять лет перегнулось»; а рядом думы молодца-удальца, которому невтерпеж «зиму-зимскую жить за печкою»:

Если б молодцу
Ночь да добрый конь,
Да булатный нож,
Да темны леса!..

Стану в тех лесах
Вольной волей жить,
Удалой башкой
В околотке слыть!

У молодца удалого в юности «с радости-веселья хмелем кудри вьются»; но не радость сулит бедняку жизнь. Подходит старость, и он—

Чист кругом и легок,
Никому не нужен.
К старикам на сходку
Выйти приневолят —
Старые лаптишки
Без онуч обуешь,
Кафтанишко рваный

На плечи натянешь,
Бороду вскосматишь,
Шапку нахлобучишь...
Тихомолком станешь
За чужие плечи.
Пусть не видят люди
Прожитого счастья!

В другом случае бедняк-молодец лишился любимой девушки (богач перебил), лишился избы:

С той поры я с горем-нуждою
По чужим углам скитаюся,

За дневной кусок работаю,
Кровным потом умываюся...

Впереди бедняку никакой радости:

Соловьем залетным
Юность пролетела;
Огнем в непогоду
Радость прошумела...

Без любви, без счастья
По миру скитаюсь:
Разойдусь с бедою —
С горем повстречаюсь!

А кого из бедняков не хватит за сердце песня «Доля бедняка»?

У чужих людей
Горек белый хлеб,
Брага хмельная
Не разымчива!
Речи вольные

Все как связаны;
Чувства жаркие
Мрут без отзыва.
Из души ль порой
Радость вырвется,

Злой насмешкою
Вмиг отравится,
И бел-ясен день
Затуманится,
Грустью черною

Мир оденется.
И сидишь, глядишь,
Улыбаючись,
А в душе клянешь
Долю горькую!

Или вот еще известная песня:

В непогоду ветер
Воет-завывает;
Буйную головушку
Злая грусть терзает.
Горемычной доле
Нет нигде привета:
До седых волос любовью
Душа не согрета.
Нету сил, устал я
С этим горем биться!

А на свет посмотришь —
Жалко с ним проститься!
Доля ж моя, доля,
Где ты запропала?
До поры до время
В воду камнем пала?
Поднимись, что силы,
Размахни крылами:
Может, наша радость
Живет за горами...

Было бы ошибкой думать, что всеми такими думами Кольцов проникался исключительно как сторонний наблюдатель. Было и в его жизни немало такого, что роднило его с долей бедняка. Его талант привлек к себе внимание бар-литераторов из крупной помещичьей, дворянской среды. С Кольцовым до некоторой степени носились, его приглашали. Но, очевидно, на каждом шагу давали ему чувствовать, что он—чужой.

С другой стороны, А. В. Кольцову до конца жизни не удалось вырваться из-под гнета отцовского самодурства и деспотизма: отец эксплоатировал сына и держал его в то же время, можно сказать, в черном теле.

Перед поэтом, по его семейному и общественному положению, открывались две дороги. Первая—тянулась к барам-покровителям и толкала наживаться на привычном смолоду, отцовском торговом деле. А вторая—сблизиться с демократическим крылом в литературе и пренебречь интересами наживы.

А. В. Кольцов пошел по второй дороге: демократические, идеальные стремления взяли верх в его душе. Последние годы его короткой жизни были очень тяжелы. И очевидно, только преждевременная смерть помешала молодому поэту окончательно порвать со старым миром.

Поэтому мы не должны судить его за некоторые стихотворения монархического характера: не забудем, что он жил почти сто лет назад. А за его гениальное выражение чувств и настроений угнетенного и обездоленного люда он по праву должен занять одно из лучших мест в памяти пролетариата.

УТОПИЯ [1]

(В. Моррис, Вести ниоткуда. Утопия.)

Под именем «утопия», «утопический» мы привыкли разуметь нечто недостижимое и неосуществимое. Ставить себе утопические

[1] Напечатано в «Волне» за 1906 г.

цели значит—заниматься бесплодной растратой сил, вредным отвлечением от полезной деятельности. Но выводить отсюда, будто утопия вообще вредная бессмыслица, значит—выплескивать из ванны вместе с водой и ребенка. Всякий, кому не чужда борьба за идеал, неизбежно в своем воображении строит картину лучшего будущего строя жизни,—эта картина и является утопией. Она утопия в том смысле, что не может воплотиться в жизнь полностью, потому что мы не можем предвидеть многого в будущей истории человечества. И было бы нелепостью, если бы мы отстаивали и пытались воплотить в жизнь созданную нашим воображением картину во всех ее подробностях и мелочах. Но как руководящее начало, как путеводная звезда, утопия не только необходима,—она неизбежна, а потому составляет законную разновидность художественного творчества.

Казалось бы, в наши дни, когда со всех сторон стерегут русского человека, борца за свободу, тюрьма, истязания или смерть, когда высшие проявления героизма и самопожертвования стали почти обыденным явлением,—казалось бы, что в такие дни нельзя опасаться измельчания и опошления. Действительно, не могут в такую эпоху опошлиться люди, которые знают, куда они идут, которые понимают смысл эпохи и неизбежность торжества свободы. Но отнимите у человека это понимание, и ему станет не под силу переносить зрелище арестов, избиений и расстрелов, явится желание мира и покоя во что бы то ни стало,—прямой путь к измельчанию и опошлению. Но и сознательным человеком может на минуту овладеть усталость,—злобою сердце питаться устанет. И сознательный человек почерпнет свежие силы из чтения книги, в которой он найдет отражение собственных заветных грез и картину осуществления того, за что он теперь борется так упорно и страстно. Такую именно ободряющую и освежающую роль может сыграть чтение книги Морриса.

Автор книги соединяет в себе художественный талант, глубокое проникновение в сущность социального процесса, остроту ума и чрезвычайную оригинальность взглядов. Нарисованная им картина жизни через сотню с лишним лет от нашей эпохи носит резкие черты яркой индивидуальности автора. Достаточно привести один пример, чтобы показать, насколько нарисованная картина разнится от шаблонных представлений о будущем обществе. Мы живем в век гигантского роста машин, и нам кажется, что в будущем обществе ручной труд будет совершенно вытеснен машинным производством. Моррис зло смеется над этим взглядом. Обоготворяя искусство и красоту, он убежден, что в будущем производство предметов потребления и служение искусству сольются в одно гармоничное целое. Предметы потребления будут продуктом не машинного производства, а художественного творчества, продуктом ручного труда.

Каким образом, по Моррису, произошел переход от машинного к ручному производству? После «великой перемены» люди поняли, что при машинном способе могли жить только рабы и рабовладельцы. Работа, доставлявшая удовольствие и потому не считавшаяся трудом, начала вытеснять механический труд. Машина за машиной перестала работать на том основании, что машины не могли давать произведений искусства, а между тем спрос на такие произведения становился все больше и больше.

Не менее оригинальны взгляды и аргументации автора в тех главах книги, где речь идет о перемене всех политических, социальных и бытовых общественных установлений. Но особенный интерес для русского читателя наших дней представляет глава XVII, где описывается, «как наступила перемена», и следующая за ней глава—«начало новой жизни». В первой из этих двух глав описывается бурная эпоха «великой перемены», по своему содержанию чрезвычайно близкая сердцу современников нынешней российской «великой перемены».

Остановимся подробнее на описании этой эпохи, которая отнесена Моррисом для Англии к 1752—1753 годам.

Участники этой эпохи, понимавшие ее смысл, пережили все фазы страдания: недовольство, обман, разочарование, разорение, бедность, отчаяние; но большинство людей смотрело и не понимало, что делается. Главным мотивом перемены было страстное стремление к свободе и равенству, болезненная тоска души, с ненавистью относившейся к бесцельной одинокой жизни богатого и образованного человека того времени. Если бы не эта страсть, то, при значительном подъеме благосостояния одной части рабочих, другая часть их попала бы в рабство еще ужаснее прежнего.

Для удовлетворения нужд рабочего класса были сделаны попытки проведения в жизнь государственного социализма. В результате—страшная путаница, еще большее страдание и всеобщее недовольство. Образовались союзы почти между всеми, получающими плату за труд. Началась борьба за сокращение рабочего дня, установление минимума заработной платы и максимума цен товаров, необходимых для жизни рабочих. Были устроены государственные фабрики для производства необходимых товаров. Привилегированные классы увидели в новых порядках конец мира. Но дурные для рабочих времена возвращались еще не раз.

Год 1752 был самым худшим. Государственные фабрики, в которых шло страшное мошенничество, не могли выдержать, и огромная часть населения кормилась на счет благотворительности.

Рабочие союзы всеобщим голосованием всех обществ потребовали передачи управления всеми богатствами страны в руки рабочих обществ. Эта резолюция была принята высшим классом как объявление войны. «Надо подавить ненасытную алчность низших классов! Надо проучить народ!»—кричали реакционеры.

По какому-то мелкому поводу был назначен митинг рабочих в Трафальгарском сквере; на собравшихся напала полиция, пятерых убила, многих ранила и сотни людей арестовала. После этого вся страна пришла в брожение. Новый огромный митинг собрался в Трафальгарском сквере, и на этот раз полиция получила хороший отпор. В Лондоне предводители рабочих союзов образовали Комитет общественного спасения, который в особых листках призывал рабочих не уступать и вновь собраться на митинг через две недели. Буржуазные газеты призывали правительство к репрессиям..

В воскресенье был новый митинг; он прошел без вмешательства полиции, и народ второй раз провозгласил «победу». Но затем оказалось, что масса рабочих остается без хлеба. Тогда Комитет общественного спасения взял все припасы из нескольких магазинов, оставив лавочникам письменное обязательство уплаты; в то же время были захвачены многие булочные.

На следующий день все газеты дышали яростью. Депутация от капиталистов требовала, чтобы правительство арестовало Комитет. Правительство объявило Лондон на осадном положении и назначило главнокомандующим одного из самых молодых и энергичных генералов. Газеты возликовали и не нападали на генерала, хотя он не принимал, повидимому, никаких мер: очевидно, подготовлялся какой-то тайный план. И действительно, рабочим дали собраться на новый большой митинг, окружили войсками и стали расстреливать из механических пушек.

Умершие и умирающие покрывали землю; стоны, вопли, крики отчаяния наполняли воздух, и казалось, что в мире существуют только убийство и смерть. Вооруженные из числа рабочих подняли крик и стали стрелять в солдат. Из рабочих было убито одна или две тысячи, из солдат—шесть человек. Эта бойня положила начало гражданской войне, которая, как и все подобного рода события, разгоралась очень медленно.

В народе после бойни заговорила ярость, а не страх. Правительство почувствовало, что оно должно теперь итти до конца. Либеральная газета объявила о своей неизменной симпатии к рабочим, но доказывала в то же время, что правительство должно быть твердо и должно расстреливать безумных бунтовщиков, чтобы помешать другим вступить на тот же путь; эта газета говорила, что она стоит за разумный демократизм, свободный от тираническихъ выходок социалистов. Трое из членов Комитета были убиты во время митинга, остальные арестованы на другой день. «У правительства после припадка жара начался озноб», и оно, вместо немедленного расстрела, отдало членов Комитета на суд присяжных, которые всех оправдали.

Правительство пошло на уступки и делало вид, что соглашается исполнить требования народа, а между тем замышляло

нанести решительный удар. Хотя общество, суд и армия были на стороне правительства, тем не менее Комитет общественного спасения становился силой и действительным представителем производящих классов. Скоро создалась новая сеть рабочих организаций, открыто поставивших целью перемену государственного строя. Так как они были знакомы со всеми условиями борьбы за рабочие интересы, то скоро сделались представителями и посредниками рабочего класса. Буржуазия вновь потребовала репрессий, и члены Комитета вновь были арестованы.

Но тут произошло то, чего правительство не ожидало. На другой день после ареста не вышла ни одна газета; железные дороги остановились; мясо, рыба и овощи лежали не распакованными на рынках и гнили. К вечеру правительство обеспокоилось: оно имело в распоряжении только грубую силу, но не могло пустить ее в ход против мирных забастовщиков.

На второй день стачки вышли только социалистические газеты; в них, без всякой ненависти и грубых слов, излагалось учение социализма и объяснялся образ действия рабочих. В правительстве началось смятение и колебание.

На третий день стачка продолжалась. Рабочие комитеты расширили свою деятельность и помогали огромному количеству народа, так как они обеспечили себе доставление продуктов с помощью людей, на которых могли положиться. Даже зажиточные люди должны были обращаться к ним за помощью. Брожение в массе усиливалось. Испуганное правительство освободило арестованных членов Комитета и признало право существования за всеми рабочими организациями. Тогда большая часть средних и высших классов возмутилась и решила поднять контрреволюцию. Образовались организации реакционеров; их шайки пользовались всяким случаем, чтобы начать на улице свалку с рабочими. Эти «друзья порядка», как они сами себя называли, имели вначале успех и становились смелее. Началась в своем роде беспорядочная война по всей стране, с переменчивым успехом.

Правительство сначала сделало вид, что не замечает войны; но потом открыто стало на сторону «друзей порядка» и стало посылать им в помощь все свои войска. Всякая мысль о возможности мира исчезала с обеих сторон. Из числа рабочих организаторов во время этой войны выработался ряд людей с административными и другими талантами, необходимыми для их партии. Революционный дух захватил и солдат, и многие из них перешли на сторону народа. Но успех рабочих был обеспечен главным образом тем, что народ работал для их партии, а не для реакционеров. Не только армия, но и мирные жители, стоявшие на стороне реакционеров, были так измучены окружающей их ненавистью, что жизнь их стала невыносимой.

В конце концов тысячи стали уступать и подчиняться «бун-

товщикам»; а так как число последних все возрастало, то в конце концов всем стало ясно, что их дело, казавшееся вначале безнадежным, должно восторжествовать, и что в безнадежном положении теперь находилась система рабства и привилегий. Все были рады наступившему миру. Положение бедняков, несмотря на войну, за эти два года все-таки улучшалось; по заключении же мира их благосостояние стало быстро возвышаться.

Таковы, в сильно сокращенном изложении, события в Англии 1752 года. Само собой разумеется, что, в качестве утопии, рассказ Морриса не может претендовать ни на значение программы действий английского рабочего класса, ни на роль точного пророчества о событиях. Тем не менее этот рассказ, как и вся книга Морриса, может навести на серьезные размышления не одних только английских читателей. Любопытно совпадение: автор книги, англичанин В. Моррис скончался осенью 1896 года,—как раз в год начала крупного рабочего движения в России (знаменитая петербургская стачка).

НАРУШЕНИЕ ВОЛИ [1]

Под заглавием «Нарушение воли» Гончаров незадолго до смерти поместил в «Вестнике Европы» статью, в которой просит не печатать того, чего он сам не напечатал при жизни и чего не предназначал к печати после смерти.

Прежде Гончарова Некрасов распорядился, чтобы в собрание его сочинений не помещалось ничего из напечатанного им раньше, кроме тех произведений, которые он сам нашел нужным включить в это собрание.

Вопрос о нарушении воли разбивается, таким образом, на две части: запрещение печатать после смерти автора может распространяться или на произведения, уже отпечатанные при его жизни, или на рукописи, еще не видавшие света. Такова иногда бывает воля писателей. Законно ли ее нарушение?

С каждым своим произведением писатель выступает в роли общественного деятеля и, как таковой, подлежит суду потомства за каждый свой шаг. В жизни всякого общественного деятеля, наряду с осуществленными планами, есть и такие, которые были добровольно оставлены раньше своего осуществления. Планы, не доведенные до конца, не перестают быть актами общественной деятельности. Не подлежат критике только намерения, которые ни в чем не проявились и никому не были высказаны. Литературные произведения, почему-либо не доведенные до конца и не опубликованные автором, остаются актами общественного характера. Если писатель не предал их уничтожению, значит—придавал им некоторое значение. Еще более это относится к сочинениям, оставшимся недоделанными единственно за смертью автора. Та-

[1] Напечатано в газете «Восточное обозрение» за 1900 г. №№ 43 и 44.

ково первое и основное соображение, говорящее в пользу законности нарушения воли.

Не имея полного собрания сочинений крупного писателя, невозможно с достаточной полнотой определить его историческую роль. Некрасов остается до сих пор в значительной степени загадкой и как поэт и, еще более, как журнальный деятель. Известно, что на его литературной репутации есть темные пятна. Зачем окутывать их таинственной вуалью?

Сам Некрасов сознавал свои промахи и печатно каялся в них с такою неподдельною искренностью, что язык не повернется высказать слово осуждения. Задача истории состоит к тому же не в осуждении, а в выяснении. Читая в собрании стихотворений такие вещи, как «Ликует враг» или «Неизвестному другу», читатель, незнакомый с автором по другим источникам, остается в недоумении: каковы были те неверные звуки, которые исторгала у лиры рука поэта в минуты, когда грозил неумолимый рок? Почему вдруг отпрянули в смущении великие страдальческие тени, на гробах которых поэт преклонял колени?

Если бы неверные звуки были поставлены рядом с верными, то это лишь полнее оттенило бы отношение поэта к известным общественным явлениям, о которых он, может быть, вовсе не имел возможности высказаться искренно по чисто внешним причинам.

Но не одни, неверные звуки были забракованы Некрасовым. В 1897—1898 гг. были опубликованы в печати три его стихотворения, которые свидетельствуют о чрезмерно строгой авторской самоцензуре. В свое время Некрасов подвергался такой травле со стороны поклонников чистого искусства, что мог искренно думать, будто его «суровый, неуклюжий стих» не сохранится в памяти народной. Двадцать с лишним лет, протекших со дня смерти поэта, являются достаточным сроком для испытания. Произведения Некрасова сохранили свою свежесть. Выяснилось, что это— более крупная историко-литературная величина, чем думали, может быть, современники поэта и он сам. Рамки, в которые поставлено перепечатывание его произведений, становятся все стеснительнее. Неужели всего этого недостаточно, чтоб нарушить волю Некрасова и показать, что нарушение воли вообще законно со стороны потомства?

Писатель не может предвидеть, какую сторону его литературной деятельности наиболее оценит потомство. В Пушкине разные литературные лагери ценят и теперь различные стороны. Есть у него вещи, которые служат крайним выражением той и другой стороны. Выбирая одно и бракуя другое, Пушкин явился бы пред потомством не тем, что он есть на самом деле.

Автор—не всегда лучший судья самому себе. Пред нами две книги: стихотворения Матвея Рамшева (Пб., 1887) и стихотворения П. Я. (Пб. 1898). Из того, что многие стихотворения повто-

ряются в обоих этих сборниках, следует заключить, что П. Я. и Рамшев—одно и то же лицо[1]. Но в первом сборнике имеется до семидесяти стихотворений, не вошедших во второй. Вот несколько примеров того, что оказалось выброшенным.

«Голос»—тот голос, который контролирует порывы восторженной юности словами:

Когда б тебе я, пыл твой меря,
Тебя ж в грядущем показал,
Ты горько б, горько зарыдал
Иль отвернулся б, мне не веря.

Это не скептицизм натуры анемичной от рождения, а призыв здорового человека не полагаться на темперамент и с юных лет воспитывать в себе элементы, которые дали бы силу продолжать борьбу до последней минуты жизни.

Вот монолог Прометея, говорящего, между прочим:

Не мольба о пощаде порой
Долетит к вам из уст Прометея, —
Гордый крик, что свой путь роковой
Вспоминает титан, не краснея...
Пока жив мой огонь в человеке,
Мое дело, я верю, живет
И останется правым навеки.

А вот несколько строк из «Монолога»:

Я помню первый пыл святого озлобленья,
И клятвы первые, и первой бури гром!
О, что за страшных гидр, исчадий темных ада,
Дитя, я рисовал в неопытных мечтах,
С каким цинизмом злым пронзающего взгляда,
С какой улыбкою змеиной на устах!
И что же? Всякий раз, когда свой меч картонный
Я на чудовище во гневе поднимал,
Вдруг таял великан, и Дон-Кихот смущенный
Пигмея и раба в тиране узнавал.

В числе забракованных автором стихотворений есть немало глубоко прочувствованных, есть и такие, которые сами собой заучиваются. П. Я. выбрал из Рамшева, повидимому, лишь то, что наиболее подходило к его позднейшему трагическому настроению. Сборник выиграл (и то относительно) в цельности настроения, но проиграл в разнообразии содержания.

Даже если П. Я. с умыслом стремился отразить только душевное состояние человека, жизнь которого сложилась известным образом, то и тогда его прием придется признать ошибочным. Во-первых, многое из того, что забраковано, прямо вносит дополнительные черты душевного склада личности, подобной П. Я. Во-

[1] П. Я. и Рамшев — псевдонимы известного поэта революционного народничества, П. Ф. Якубовича.

вторых, эта личность стала бы ближе сердцу читателя, если бы последний увидел ее не с единственной стороны,—не всякому понятной,—а во всей сложности развитой индивидуальности.

Что осталось бы нам теперь от Белинского, Добролюбова и многих других, если бы предоставить этим лицам самим решать, какие именно из числа их произведений заслуживают внимания потомства?

Но если нельзя признать самих авторов безусловно компетентными в решении подобного вопроса, то еще меньше можно согласиться с г. Михайловским[1], предлагающим довериться такту издателей—этих случайных предпринимателей, часто не имеющих понятия о том, что они издают. Вопреки мнению г. Михайловского, мы думаем, что если речь идет о писателе, оставившем значительный след в литературе, то каждая написанная им строчка должна перепечатываться. Ибо прав тот же Михайловский, говоря: «При жизни писатель волен делать с своими произведениями, что он хочет, но после смерти он (заметьте—писатель, а не только его произведения) становится достоянием истории».

Можно только поздравить русского читателя с тем, что Академия наук предприняла издание Пушкина, в состав которого должна войти «каждая строчка», написанная великим поэтом.

В художественных произведениях более, чем в каком-либо ином продукте ума человеческого, отражается личность творца. Биографические данные облегчают и расширяют понимание произведений. Наши представления о Пушкине и Белинском не были бы полны, если бы не были опубликованы их письма. Это является серьезным основанием к тому, чтобы предавать гласности письма и заметки писателя, носящие чисто личный характер.

Возможен такой случай. Ограничивая круг произведений, подлежащих перепечатке, автор вынужден будет исключить все то, что не может быть опубликовано по временным цензурным условиям. Внешние условия изменятся, а запрет умершего автора навсегда останется в силе. Самоцензура окажется худшей из всех цензур. Это замечание имеет значение как по отношению к целым произведениям, так и относительно отдельных мест.

Существует предрассудок, будто художественное творчество вообще, и стихотворство в частности,—исключительно дело таланта: талант, дескать, проявит себя без всякой выучки, и никакая выучка не создаст таланта. Насколько справедливо последнее утверждение, настолько же ложно первое.

Отсюда следует вывод о пользе изучения и систематизации приемов творчества. Нечего бояться, что «школа» убьет оригинальный талант. Утверждая последнее, противники школы противоречат собственному заявлению, что талант всегда пробьет себе

[1] См. «Русское богатство», 1899 г., № 9.

дорогу. Из того, что всякая школа с течением времени становится устарелой, еще не следует, что не нужно никакой школы.

У нас противником школы является, между прочим, Иван Иванов. Он восстает против мнения В. Гюго, что в искусстве не должно быть ни этикета, ни анархии, но должны быть законы: он видит зло французской литературы в том, что там поэты не могут представить себе искусства без специального надзора за приемами творчества и не могут дорасти до мысли, что каждый по-своему должен воспроизводить жизнь и изучать душу.

Никто и не думает отрицать индивидуальности. Но при изучении деятельности многих индивидуальностей неизбежно найдется нечто общее всем им. Это общее и составит законы творчества, соответственно которым могут быть выработаны прикладные правила. Последние, повидимому, имел в виду В. Гюго, говоря о законах. Существо дела не изменится от того, каким путем и кто создаст эти правила: ученый ли исследователь, или первоклассный художник, попытавшийся анализировать и систематизировать выработанные им самим приемы.

Никто не думает, что можно стать музыкантом или художником без специальной подготовки; никто не утверждает, что консерватории и академии художеств убивают таланты. Почему же для литературной профессии делается исключение?

Признав вред школы, придется признать высшим идеалом существующий уровень преподавания словесности в средних учебных заведениях, так как если этот уровень не идеал, то, значит, есть нечто, что может послужить предметом дальнейшего публичного изучения. На известной стадии развития литературы вопрос о стиле и языке решается каждым писателем по-своему. Из отрицания школы можно вывести отрицание преподавания словесности, ибо, исправляя стиль ученических сочинений, учитель давит индивидуальность ученика и губит таланты. Конечно, нельзя указать точной границы школы и в другую сторону, но в деле знания всегда лучше передать, чем недодать.

В Западной Европе уже начинает получать право гражданства мысль о пользе специальной подготовки к литературной профессии (пока еще только к журнальной). Против курсов этого рода слышится, между прочим, такое курьезное возражение: «Сколько разочарований ждет многих молодых слушателей, которые окажутся неспособными к избранной ими профессии!» При этом забывается, как часто постигает разочарование лиц, готовящихся ко всякой иной профессии.

Как бы то ни было, но даже противники школы признают пользу изучения произведений великих мастеров слова, не боясь того, что это изучение в одних убьет индивидуальность, других приведет к разочарованию. Фактически это единственный пока источник подготовки, если не считать случайных личных знакомств.

Мы думаем, что подготовка себя к литературной профессии значительно облегчилась бы, если бы была возможность знакомиться с выдающимися литературными произведениями не только в готовом виде, но и во всех фазах их отделки, начиная с первых эскизов и даже конспективных набросков. Крупные писатели никогда не стыдятся признаться в том, скольких трудов стоят им их создания. И если скромность может помешать опубликованию черновиков самими авторами, то все-таки нет никакого основания запрещать посмертное их опубликование.

Таковы, с общественной точки зрения, мотивы, оправдывающие законность нарушения воли. Писателю как личности может быть не всегда бывает приятна мысль о безграничном посмертном контроле его деятельности. Но это—новый довод в пользу нарушения воли: для человека, дорожащего своим именем, мысль о суде потомства может явиться великой сдерживающей силой.

IV. ВОПРОСЫ ПЕЧАТИ

СВОБОДА ПЕЧАТИ И ЛИБЕРАЛЫ [1]

(Историческая справка)

В 1824 году в Петербурге было большое наводнение. Разрушено много домов. Множество жителей погибло. Но в газетах об этом не было ни слова. Только какому-то бездарному поэту удалось пройти через цензуру и напечатать о наводнении, что

Множество коней и крав (коров)
Поплыло, кверху ноги вздрав.

Через 80 лет после наводнения, в 1905 году, случилось 9 января. Опять погибло множество народа, и опять в русских газетах об этом не было ни слова. Везде за границей—в Англии, Германии, Франции—печатались длинные столбцы телеграмм о событиях в Петербурге, а в петербургских газетах можно было найти лишь глухие намеки на тяжелые события.

Если вы спросите либерала, то он скажет, что с 1824 года до 1905 года положение печати в России почти не изменилось. Было небольшое облегчение сейчас, после 1861 года, а затем стеснения все росли и росли. Ответ либерала будет и верен, и неверен.

Верен, если смотреть только на подцензурную печать. Действительно, и перед 1905 годом, и в начале этого года подцензурные газеты почти только тем и занимались, что печатали телеграммы из каждого города: весной—о вскрытии рек, в мае—об экзаменах, летом—о дожде, в августе—о начале занятий в учебных заведениях, осенью—о замерзании рек и зимой—о снеге. Совсем ничего нельзя было сообщать в газетах ни о студенческой, ни о рабочей жизни.

И вдруг осенью 1905 года наступила почти полная свобода печати. Как же это так? Ведь из ничего только и бывает ничто; откуда же взялась свобода печати осенью 1905 года?

Дело в том, что либералы не заметили, как в России с 1861 года свобода печати все увеличивалась, хотя газеты могли печатать почти только о погоде. Нужно помнить, что с 1861 до 1905 года рядом с подцензурной печатью существовала печать бесцензурная.

По закону, за составление, печатание и распространение бесцензурных изданий полагалась каторга. После 1861 года, еще когда

[1] Напечатано в газете «Путь правды», № 24 от 28 февраля 1914 г.

положение печати, по мнению либералов, было наилучшее, знаменитый Н. Г. Чернышевский, поэт Михайлов и другие были сосланы на долгие сроки в каторгу только по обвинению в авторстве бесцензурных листков.

В семидесятых годах не только работавшие в тайных типографиях, но и уличенные только в распространении нелегальных изданий получали каторгу. Были даже случаи смертной казни только за то, что человек дал своему приятелю почитать бесцензурный листок.

Однако каторга и виселица не остановили роста бесцензурной печати. Все чаще возникали новые и новые тайные типографии, все шире распространялись нелегальные издания. Стало уже невозможным каждого работавшего в типографии и всякого распространителя ссылать на каторгу.

По закону каторга оставалась, а на деле перестала применяться; все дела стали решаться административно, и виновные получали вместо многолетней каторги административную ссылку лет на пять и меньше (а больше—редко). Это фактическое облегчение наказаний за бесцензурную печать на деле и являлось несомненным увеличением свободы печатного слова.

В 1905 году уже почти не было в России большого города, где не работала бы тайная социал-демократическая типография, где не было бы комитета, где не выходили бы тысячами листки.

По одному подсчету, в середине 1905 года одними только местными социал-демократическими комитетами в России, только на русском языке, печаталось и выпускалось в свет около миллиона экземпляров газет и листков в месяц. Но кроме местных комитетов листки и газеты выпускались и Центральным комитетом; кроме России они печатались и за границей и тайно доставлялись в Россию; кроме русского языка они печатались на польском, еврейском, армянском, грузинском, татарском, латышском, литовском, украинском, эстонском и других языках.

Кроме социал-демократов имели свои тайные типографии и левые народники и многие другие партии. Даже либералы под конец завели за границей свой журнал и тайно провозили его в Россию. Все эти тайные листки и газеты были невелики по размеру, но тем не менее производили большое впечатление на читателей.

Создалось такое положение, что у либералов много в России больших подцензурных газет, но их никто не слушает. А у социал-демократов не было ни одной легальной газеты, но их все слушали. И либеральные газеты, имевшие право писать почти что только о погоде, не могли бороться против социал-демократов. Вот тогда-то либералы заговорили особенно сильно об облегчении цензурных условий. Они стали писать статьи и выносить резолюции в пользу свободы печати.

Так, например, либеральные члены Академии наук, встревожен-

ные ростом нелегальной печати, вынесли резолюцию, в которой требовали облегчения цензурных условий, так как «вооруженная свободой» печать сама выступит в защиту неприкосновенности собственности, сама оградит от нападок государственные устои.

Но лучше всего взгляды и настроения либералов выразил князь Евгений Трубецкой в своей знаменитой статье «Война и бюрократия» («Право», 1904 г., № 30). Он жаловался, что в России—

> «крайние партии захватили в свои руки монополию организации. Благодаря нашим законам о печати и деятельности нашей цензуры им же принадлежит в настоящее время монополия свободного слова. В то время, когда люди умеренные вынуждены молчать за невозможностью высказаться в легальных органах печати, нелегальные листки у нас наводняют улицы, и влияние их, ничем не будучи сдержано, растет не по дням, а по часам. Неужели же в этом заключается цель наших законов о цензуре и печати? Неужели мы не видим вытекающей отсюда грозной опасности, и неужели мы когда-нибудь встретим ее так же, как были нами встречены японские миноносцы в Порт-Артуре?»[1].

Либералы были в восторге от этой статьи князя Е. Трубецкого. Мы видели, что либерал Е. Трубецкой сравнивал опасность от свободной русской печати с опасностью для русского государства от японских миноносцев. Либералы пуще всего боялись свободной печати и для борьбы с этой печатью требовали облегчения цензурных условий.

Мысль Е. Трубецкого о необходимости большей свободы легальной печати для борьбы против печати нелегальной—не нова. Еще в 70-х годах в либеральной газете «Голос» писалось: «В подпольном мире, выпускающем свои листки, знают цену печатного слова и пользуются им. Отчего же и нам не вести с ними борьбы равным оружием? Мало того, нам нужно поменяться ролями с революционерами: нам нужно говорить много и часто, чтобы подпольные издания не появлялись более и не смущали нас гробовым голосом».

А «гробовой голос» по поводу подобной аргументации еще в те времена смущал легальных писателей указанием, что деятели печати, в награду за послабления в цензуре, обещают обратиться в околоточных и сыщиков по политическим делам. Но откуда же взялось столь сильное влияние маленьких подпольных листков?

Начало их широкого, массового влияния относится к середине 90-х годов, когда в Петербурге образовался «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», и члены союза задались целью осветить в своих листках непосредственные нужды рабочего класса.

[1] То есть врасплох.

Вышел первый листок с рассказом о делах на Семянниковском заводе. Позже появились листки с изложением требований на фабрике Торнтона, и тотчас там забастовали 500 ткачей. Вообще листки, а потом уступки со стороны хозяев, производили магическое действие на рабочих: начиналось оживление.

Вот как рабочие описывали день первого появления листков на фабрике:

«Листки!»—слышится то шопотом, то вполголоса. Тут и там кучки, чтение вслух. «Ловко! Верно! Так, так! Совершенно верно!»—раздаются голоса. Ищейки уже пронюхали и донесли. Мастера, директор, хозяин—все приходит в движение. Посылаются гонцы к жандармам, в полицию, к фабричному инспектору. Фабричная инспекция и жандармский полковник производили исследование: пробовали тухлую некипяченую воду в баках, взвешивали гири, проверяли весы, мерили куски... конечно, искали корней и нитей. Вместо устного изложения требований (что нередко вело к арестам) рабочие указывали на «листок».

Все это повело к тому, что рабочая масса привыкла видеть в свободном слове необходимое орудие защиты своих насущных интересов.

Но от интересов рабочих отдельной фабрики листки переходили к классовым интересам в целом. И при первой возможности рабочие выступили более широко.

В сентябре 1905 года началась в России всеобщая политическая забастовка, прекратившаяся лишь после издания манифеста 17 октября. В Петербурге организовался Совет рабочих депутатов.

Вопрос о печати был поднят прежде всего на собраний рабочих печатного дела. Оратор указал, что свобода печати нужна рабочим не только как политическое благо, но и как экономическое требование: она создает расцвет типографскому делу и другим, связанным с ним, отраслям промышленности; и пролетариат печатного дела получит возможность с большею легкостью бороться за свои экономические интересы. Оратору аплодировали, и его слова были включены в резолюцию, принятую собранием.

С этого момента типографские рабочие стали принимать меры к освобождению печати. Газетные рабочие стали настойчиво предлагать редакторам выпускать номера, не считаясь с цензурными условиями. Под давлением рабочих среди редакторов стала зреть мысль об объединении для борьбы с цензорским произволом.

На собрании редакторов были приглашены представители союза рабочих печатного дела. И тотчас «между тактикой рабочих и тактикой буржуазных писателей раскрылась пропасть, и представители союза рабочих под благовидным предлогом удалились из заседания с тем, чтобы больше никогда туда не являться»,—рассказывает участник событий А. Симановский.

Влияние рабочих было, однако, столь сильно, что редакторы

решили осуществлять свободу печати явочным порядком. Газеты перестали представляться в цензуру. А рабочие в это время в явных и тайных типографиях печатали уже массу листков и большую газету «Известия Совета рабочих депутатов».

19 октября Совет рабочих депутатов, объявляя о прекращении всеобщей забастовки, выделил работников газетного дела. Указывая на то, что цензура не отменена и что Главное управление по делам печати продолжает действовать, Совет постановил, что «только те газеты могут выходить в свет, редакторы которых игнорируют Цензурный комитет, не посылают своих номеров в цензуру, вообще поступают так, как Совет рабочих депутатов при издании своей газеты. Поэтому наборщики и другие товарищи-рабочие печатного дела, участвующие в выпуске газет, приступают к своей работе лишь при заявлении о проведении редакторами свободы печати. До этого момента газетные товарищи-рабочие продолжают бастовать, и Совет рабочих депутатов примет все меры к изысканию средств для выдачи бастующим газетным товарищам-рабочим их заработка. Газеты, не подчинившиеся настоящему постановлению, будут конфискованы у газетчиков и уничтожены, типографии и машины будут попорчены, а рабочие, не подчинившиеся Совету рабочих депутатов, будут бойкотированы».

По поводу же решения редакторского «Союза для защиты печати» отвечать на закрытие газеты забастовкой—Совет рабочих депутатов высказал, что с репрессивными мерами следует бороться путем активных действий.

Постановление Совета рабочих депутатов имело такую силу, что не желавший подчиниться ему черносотенный издатель Башмаков был вынужден испросить секретное разрешение администрации на выпуск своих изданий без цензуры.

Тем не менее,—рассказывает А. Симановский,—в вышедших после забастовки газетах (кроме рабочих и черносотенной газеты Башмакова) упоминалось лишь о постановлении редакторов выпускать газеты без цензуры. Получалось впечатление, будто ни одна редакция не знала о настроении рабочих и о требовании Совета рабочих депутатов. А в газете социалистов-революционеров «Сын отечества» даже говорилось, будто «прессе приходится собственными усилиями сбрасывать с себя цензурные путы». На самом же деле рабочим приходилось следить за редакторами, чтобы они исполняли постановления Совета рабочих депутатов.

Подведем итоги.

До октябрьских дней 1905 года либералы требовали цензурных облегчений ради борьбы против демократической и рабочей печати. Первый день свободы печати они (и эсеры) ознаменовали ложью, умолчав о требованиях рабочих и о роли рабочих. А кончили они предательством и каторжным кадетским законопроектом в I Государственной думе, в июне 1906 года. Остается верить на слово,

будто либералы—ценные союзники рабочих в отстаивании свободы рабочей печати.

КТО С КЕМ? [1]

Жизнь постоянно ставит перед борющимся пролетариатом новые задачи. Решать эти задачи сплеча, поступать без обсуждения таких вопросов невозможно. Именно в обсуждении и вырабатывается у пролетариата и его представителей сознательное отношение к политической жизни.

Разногласия при этом неизбежны. И объявлять всякое такое разногласие вредной сварой значит—не желать думать, значит—не понимать трудности и сложности задач, стоящих перед пролетариатом.

При этом нередко случается, что на маловажном на вид вопросе можно многому научиться. Таким именно поучительным вопросом является и вопрос об участии марксистов в принятии резолюции о свободе печати, недавно опубликованной (в газетах от 5 мая).

Расскажем подробно, как было дело.

Перед пасхой редакция «Правды» получила повестку с приглашением послать своих представителей на совещание, имеющее целью протестовать против ухудшения законов о печати. На совещание, как оказалось, были приглашены представители 28 газет и журналов, в том числе от «Биржевых ведомостей», «Русского слова» и других изданий, которые признаны были устроителями совещания «прогрессивными».

Председатель изложил цель и состав собрания. Тотчас представители «Правды» выразили свой протест против неприглашения представителей профессиональной рабочей печати. Затем представители «Правды» заявили, что они не уполномочены принимать участие в совместных выступлениях членов совещания и остаются на собрании только с целью осведомления.

После заявления представителей «Правды» взял слово представитель меньшевистских изданий «Луча» и «Нашей зари». Он присоединился к протесту «правдистов» против неприглашения представителей профессиональной рабочей печати. Далее он заявил, что представители «Луча» и «Нашей зари» примут участие в прениях только как отдельные лица; всякое же обязательство их подлежит обсуждению редакций.

В дальнейшем представитель «Речи» предложил принять общую резолюцию, обязательную для всех изданий.

Представители «Правды» тотчас заявили, что они не примут участия в голосовании. Если бы они приняли участие, то, оставшись в меньшинстве, должны были бы подчиниться постановлению буржуазных изданий, то есть связать пролетарский орган решением представителей враждебного класса.

[1] Напечатано в газете «Правда», № 106 (310) от 10 мая 1913 г.

Председатель собрания ставит вопрос: может быть, еще кто-нибудь не желает участвовать в голосовании? Он начинает выкликать по очереди не лиц, а издания. Когда он назвал «Луч» и «Нашу зарю», то их представители забыли уже, что присутствуют как «отдельные лица», а откликнулись как представители редакций и заявили, что будут участвовать в голосовании. Таким образом они связали редакции этих органов обязательством подчиниться решению представителей буржуазных изданий.

Выработка резолюции была отложена.

Затем «Правда» получила повестку на 3 мая и корректурный оттиск проекта резолюции. Резолюция эта составлена была в чисто кадетском духе. В числе других ее перлов особого внимания заслуживает протест против того, что «к печати применены статьи уголовного закона, созданные правительством специально для борьбы с политическими преступлениями».

Резолюция протестует не против того, что свободное выражение мнений в известных случаях является по нашим законам политическим преступлением, а только против того, что эти статьи закона применяются и к «непреступным» изданиям.

Но известно, что социал-демократическая и другие социалистические партии являются в России «преступными»; всякое издание от лица этих партий или их организаций является «политическим преступлением». И, как мы видели, против преследований таких «преступлений» проект резолюции ничего не имеет; авторы проекта отгораживаются от таких «преступников»; они как бы говорят правительству: «С преступниками расправляйся как хочешь, но только нас не тронь».

Получив проект этой, явно предательской по отношению к социалистическим партиям, резолюции, представители «Правды» поспешили выработать свой проект. Это было необходимо сделать, так как на заседание ожидались и представители рабочих профессиональных органов, и представители лево-народнических, более или менее демократических изданий.

Предательско-либеральной резолюции нужно было, обязательно было противопоставить последовательно марксистскую резолюцию. Проект такой резолюции и был прочитан представителями «Правды» в заседании 3 мая. Но председателем он не был допущен к голосованию.

Что же касается либерального проекта, то один из представителей буржуазной печати, некто А., не говоря по существу, предложил только сократить ее. Не возражали по существу и представители «Луча» и «Нашей зари», причем представитель «Нашей зари» заявил, что он голосует за проект комиссии, потому что проект «Правды» «неприемлем для данного собрания». В результате и получилась резолюция, опубликованная 5 мая.

История этим не кончается.

Как видит читатель, перед представителями пролетариата встал в данном случае очень серьезный вопрос: должны ли они принимать участие в принятии буржуазными деятелями буржуазных решений, или же они должны при всяком удобном случае противопоставлять буржуазной точке зрения социал-демократическую точку зрения и никоим образом не связывать себя решениями представителей класса, враждебного пролетариату?

И «Правда» в номере от 5 мая высказала свой взгляд на этот вопрос. А «Луч» усмотрел в этом только междуусобную свалку и пишет в № 103 (189) следующее:

> «На этот раз поводом к свалке «Правда» старается сделать вопрос о подписании редакциями рабочих органов известного протеста совместно с редакциями буржуазных прогрессивных изданий. «Правда» вместе с нами пошла на совещание деятелей печати; она вместе с нами настаивала на приглашении в него и редакций профессиональных органов; она, стало быть, вместе с нами признала в данный момент возможность и необходимость таких совместных действий с буржуазной прогрессивной печатью, каким является несомненно самое совещание...»

Это заявление требует прежде всего нескольких фактических поправок.

Во-первых—о подписании резолюции «редакциями рабочих органов». Известно, что—

1) подписали резолюцию: «Луч», «Речь», «Современное слово», «День», «Право», «Южный телеграф», «Наша заря», «Современный мир», «Русская молва» и др.;

2) отказались подписать резолюцию: «Правда», «Просвещение», «Вестник приказчика», «Пекарь», и «Вестник портных»,—то есть все рабочие газеты, представленные на собрании, кроме «Луча».

Таким образом, «Луч» и «Наша заря» присоединились к буржуазным органам и выступили против всех рабочих органов, представленных на собрании.

Во-вторых, рабочие органы шли на собрание не совместно с «Лучом», а каждый сам по себе. И «Луч» напрасно не помянул, что «Правда» в начале первого же собрания поспешила отгородиться от представителей буржуазной печати.

В-третьих, итти на собрание вовсе не значит—соглашаться на совместное выступление; можно итти и как раз с обратной целью—для борьбы с враждебным большинством собрания, что и сделали в конце концов представители «Правды».

Какие же мотивы приводит «Луч» в оправдание своей солидарности с буржуазными изданиями и своего выступления против всей рабочей печати?

«Луч» не считает возможной подпись резолюции совместно с буржуазией только в тех случаях, когда резолюция заключает в себе содержание, принципиально неприемлемое, или когда резолюция связывает свободу действий рабочей печати.

Мы бы сказали: не только тогда, когда связывает, но и тогда, когда смазывает,—когда смазывает глубокие принципиальные различия.

Например, проект резолюции, как мы видели, заключал в себе предательский пункт по отношению к «политическим преступлениям» печати. Резолюция, принятая 3 мая, смазывает это предательство; она дает формулу более общую, под которую, однако, остается возможным подвести отгораживание от «политических преступников». Представители «Луча» на собрании 3 мая не протестовали, как мы знаем, против этого отгораживания и теперь занимаются прославлением принятой резолюции, не отвергающей, а лишь «смазывающей» отгораживание от политических «преступников печати».

«Луч» справедливо признает желательность такой тактики, которая заставила бы буржуазию невольно служить пролетариату. Но ведь в данном случае было как раз наоборот: лучисты не связали представителей буржуазии с в о е й резолюцией, а сами присоединились к двусмысленной буржуазной резолюции, сами пошли на службу к буржуазии.

«Луч» еще говорит о «закреплении» в «документе». В данном документе (резолюции) подпись «Луча» если что и закрепила, так только солидарность лучистов с представителями буржуазии и выступление лучистов против рабочей печати.

Справедливость требует отметить, что в данном выступлении лучисты остались верны себе, верны старой ликвидаторской позиции. Вспомним выборы в Государственную думу. «Звезда» и «Правда» все время доказывали, что в выборах участвуют не два, а три лагеря: реакционеры, либералы и демократы, и что социал-демократам предстоит борьба и против реакционеров, и против буржуазных либералов.

Напротив того, ликвидаторы выдвинули лозунг: «вырвать Думу из рук реакции», то есть признали только два лагеря: за реакцию и против реакции. На той же позиции стояли кадеты. Ликвидаторов тогда же назвали поэтому «либеральными рабочими политиками».

История с резолюцией 3 мая поучительна тем, что с особой наглядностью показала, что такое либеральная рабочая политика: это, в данном случае, политика следования либеральным лозунгам, под руководством и гегемонией либералов, вопреки и против всей рабочей печати.

На примере резолюции 3 мая даже и не очень проницательные люди поймут, чем именно либеральная рабочая политика лучистов отличается от политики марксистов.

Отметим еще два факта относительно заседания 3 мая.

Во-первых—о лево-народнической газете «Трудовой голос». Перед заседанием, как передают, представители ее высказывались за резолюцию, предложенную «Правдой». А на самом заседании они голосовали с органами либеральных помещиков и фабрикантов против рабочей печати. Это—обычное шатание мелкой буржуазии и ее представителей между пролетариатом и буржуазией.

Во-вторых—о «марксистском» журнале «Современный мир». Представители его голосовали с буржуазией против рабочей печати. Это—один из симптомов той трещины, которая за годы реакции образовалась между бывшей марксистской интеллигенцией и рабочим движением.

ОБ УЧАСТИИ В ХОЗЯЙСКОЙ ПЕЧАТИ [1]

В «Новой рабочей газете» появилось обвинение одного из сотрудников газеты «За правду» в том, что «этот господин умудрился писать о вопросах страхования (конечно, за разными подписями!) одновременно в «последовательной» рабочей газете и в боевом органе хозяев; более того—что он умудрился занимать руководящее положение в страховой компании рабочих и в то же время играть видную роль в страховой компании хозяев».

Вся обвинительная статья написана очень резко и страстно; сама редакция объясняет, что именно вынудило ее поспешить с публичным обвинением: это—не какой-либо новый факт в деятельности обвиняемого, а обида на Демьяна Бедного за его басню. Оставляя в стороне дело об обиде и излишнюю страстность нападения, я думаю, что здесь задет вопрос серьезный, назревший, общий и довольно-таки больной.

Участвовать в двух противоположных органах одновременно, совмещать в себе деятеля двух борющихся сторон—это очень серьезное обвинение, даже независимо от того, видный это деятель или невидный. Однако жизнь полна противоречий, а данное обвинение носит настолько общий характер, что приходится разобрать его поближе.

Возьмем сначала положение рабочих. Сознательному рабочему сплошь и рядом приходится фактически бороться за интересы рабочих и одновременно содействовать другому лагерю. Например, сознательный наборщик часто вынужден своими руками набирать статьи для буржуазных изданий.

Еще, пожалуй, сложнее и труднее положение интеллигентов, сторонников рабочего класса. Почти о всякой интеллигентской службе приходится нашему брату думать да думать: «А не кривлю ли я душой?»

[1] Напечатано в газете «За правду», № 11 от 16 октября 1913 г., статья эта называлась «О преступниках».

Совсем уж почти безвыходно положение литераторов-марксистов: одни рабочие издания не могут их прокормить, многим приходится работать в буржуазных политических изданиях.

Расскажу о том, что сам пережил и видел. Лет пять назад я стал искать места. Дело было в провинции.

Оказалось, что в том городе если не вся вообще, то почти наиболее влиятельная часть марксистской интеллигенции состояла на службе в боевой хозяйской организации (в совете съезда), а центральные личности, около которых группировалась марксистская интеллигенция,—как большевик, так и меньшевик,—постоянно сотрудничали в боевом хозяйском органе. И эти же лица были неизменными сотрудниками профессиональных органов, в значительной степени и их руководителями [1].

Первое, что мне было предложено для заработка со стороны товарищей-интеллигентов,—это сотрудничество в боевом хозяйском органе. И удивились, что я отказался. Между тем время шло, а заработка не представлялось. Но вот заболел секретарь редакции хозяйского органа, и товарищи стали хлопотать, чтобы предоставили мне это место до его выздоровления.

Я подумал, выяснил положение и согласился, когда увидал, что моя служба будет пока что состоять только из двух обязанностей: корректировать журнал и делать вырезки из газет.

Месяца через полтора постоянный секретарь умер. Товарищи прочили меня на его место. Но в это время ко мне обратился один из виднейших меньшевиков с очень крупным прошлым [2]. Он сказал мне:

— Товарищ! Конечно, вы имеете основание считать себя первым кандидатом на это место. Но мне оно было обещано раньше. Я тоже считаю себя первым кандидатом.

Я уступил. С моей стороны тут не было жертвы, так как уже наклевывалось другое место; кроме того, я увидел, что быть только корректором и резальщиком можно лишь временно; а если служить постоянно, то мудрено обойтись без исполнения редакторских обязанностей. Можно сказать, у меня осталось чувство благодарности к меньшевику за то, что он избавил меня от искушения.

Вскоре я уехал. Потом я слышал, что секретарь хозяйского органа, меньшевик, тоже должен был покинуть город, и что на его место поступил секретарем редакции другой товарищ, всем известный марксистский писатель [3]. Оба эти товарища потом были не только «виднейшими сотрудниками», но, как я слышал, и членами редакции рабочих газет направления «Луча» и «Новой рабочей газеты». Я оставил их фамилии секретарю газеты «За правду». Редакция «Новой рабочей газеты» может у него навести справку.

[1] Речь шла о Баку и о хозяйском журнале «Нефтяное дело».
[2] Сергей Цедербаум (Ежов).
[3] Кольцов (Гинсбург).

Таким образом, если будут судить товарища, против которого выступила «Новая рабочая газета», то на скамье подсудимых придется, по совести, сидеть и мне и двум виднейшим сотрудникам «Н. Р. Г.» А покопаться, так придется судить уже не 4, а 44 и, может быть, 144.

Откуда же пошла эта эпидемия преступности?

В прошлом десятилетии и хозяйские организации выступали часто с резолюциями за политическую свободу. В этих резолюциях они, между прочим, говорили правительству, что конституция нужна, чтобы предотвратить революцию. А революционерам они говорили, что о предотвращении революции упоминают только из осторожности, из дипломатии. Они давали часто деньги «на революцию», давали по службе места революционерам и т. п.

Интеллигенция в значительной своей части и теперь с теплым чувством говорит о либеральных хозяевах и охотно служит у них. В 1905 году хозяева чуть не полностью предоставляли печатать интеллигентам что угодно в хозяйском органе.

Потом, конечно, как только рабочее движение было задавлено, хозяева переменили тон и с интеллигентами. Но это произошло не сразу. И вот создалось такое положение в том городе, который я описываю, что интеллигенты привыкли смотреть на хозяйский орган почти что как на орган демократический.

Нужно при этом иметь в виду, что в то время еще не было постановлений об участии марксистов в буржуазной печати. Впервые этот вопрос был поставлен только осенью 1908 года. У меня нет под руками резолюции, приведу лишь то из нее, что помню.

В резолюции прежде всего указывалось, что участие марксистов в буржуазной печати приняло недопустимые формы и размеры. Но, конечно, не говорилось о суде над нарушителями еще не существовавших законов или правил, а были лишь формулированы в первый раз некоторые правила.

Первым правилом объявлена недопустимость печатания в буржуазных газетах статей, направленных против партии и ее решений. До тех пор марксисты нередко выступали во вражеских газетах против решений своих же товарищей.

Вторым правилом было признано недопустимым вступление в число членов редакций буржуазных органов и помещение статей без подписи.

Третьим правилом считалось недопустимым, чтобы тема и направление разработки ее подчинялись интересам буржуазной редакции.

Четвертым правилом ставилось, чтобы статьи, могущие влиять на массы, проходили через контроль организации.

И еще было, что хроника в буржуазные издания о рабочих организациях должна даваться под контролем организаций [1].

Все эти правила остаются в силе и до настоящего времени.

Об участии в хозяйских органах вопрос в 1908 году особо не ставился, но в резолюции вообще сказано, что допустимо участие в буржуазно-демократических изданиях. А хозяйские боевые органы не могут быть отнесены к демократическим, и потому участие в них недопустимо.

Теперь поговорим о товарище, которого обвиняет «Новая рабочая газета». Мне случилось слышать и главного обвинителя и обвиняемого. Считаю в праве поделиться своими впечатлениями, так как «Н. Р. Г.» не только предъявила обвинение, но уже сама же и вынесла обвинительный приговор.

Обвиняемый товарищ, подобно мне и двум виднейшим сотрудникам «Новой рабочей газеты», поступил на службу в боевую организацию хозяев. Разница в том, что мы трое, поступая на службу, были людьми зрелого возраста, политически определившимися, а обвиняемый был молод, следовал примеру старших и не был сторонником социал-демократии. Еще разница в том, что мы работали в хозяйском органе, будучи уже литераторами, а обвиняемый до того нигде не напечатал ни строчки.

Таким образом, обвиняемый перешел не от рабочих газет к хозяйской, а от хозяйской к рабочей. И когда он начал серьезно

[1] Вот дословно эта резолюция:

«3. Об участии в буржуазной прессе.

1) Конференция полагает, что участие с.-д. в либеральной и либерально-демократичеекой печати приняло в данное время в России такой характер, который наносит серьезный вред партии и при дальнейшем развитии этого участия способен вести к серьезному идейному и организационному разложению с.-д. рабочей партии.

2) Конференция полагает, что недопустимо такое участие в непартийной печати, которое связано с прямой или косвенной борьбой против РСДРП и ее руководящих учреждений или против тактических взглядов той или иной части партии.

3) Конференция полагает, что также недопустимо такое участие с.-д. в непартийной печати, при котором темы и направление разработки политических вопросов ограничиваются интересами буржуазной редакции, что фактически ведет к идейно-политическому блоку социалистов и несоциалистов, единомышленников по острым вопросам международного социализма.

4) Конференция полагает, что участие с.-д. в непартийной печати вне указанных условий допустимо, но должно быть поставлено под контроль организаций РСДРП во всех случаях, когда это участие способно иметь какое-нибудь практически-политическое значение и влияние на массы.

5) Недопустимо участие с.-д. в буржуазной прессе в качестве членов редакций, а также помещение статей без подписей.

6) Конференция полагает, что партийная хроника может вестись исключительно лицами, уполномоченными партийными организациями».

(Из книги «Российская коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях ее съездов и конференций», 1898—1921 гг. Гиз, 1922, стр. 89.)

сотрудничать в рабочей газете, он бросил писать в хозяйском журнале, так как сам пришел к убеждению, что участие тут и там одновременно не допустимо.

Начавши работать в рабочей страховой компании, обвиняемый пришел к убеждению, что продолжать службу в хозяйской организации нельзя. Это он высказывал раньше, а теперь привел дело в исполнение и бросил службу.

Таким образом, обвиняемый совершил три преступления:

1) из хозяйского органа он перешел в рабочую газету;

2) с хозяйской службы перешел к деятельности по рабочему движению;

3) из противников социал-демократии стал ее сторонником.

Он преступник. Кто же должен судить его за эти преступления: хозяева или рабочие?

ЧТО ТАКОЕ КОРРЕСПОНДЕНТ [1]

Ищут корреспондента... выживают корреспондента... бьют корреспондента. Вот все, что бывает известно читателю о лицах, трудами которых наполняется значительная часть газеты. Иных сведений о корреспондентах в печати не встретите.

Что же это за таинственные незнакомцы, которых ищут, выживают и бьют? Почитатели Щедрина знакомы, конечно, с типичной в своем роде, хотя и шаржированной, фигурой Подхалимова. Неужели все корреспонденты—Подхалимовы? Если же нет, то почему не имеется в нашей литературе другого типа, который можно было бы противопоставить Подхалимову?

У Щедрина есть еще персонаж—литератор-обыватель Корытников. Последний появился в печати лет на пятнадцать раньше Подхалимова. Уже придуманные сатириком фамилии (Корытников, Подхалимов) указывают, что носители этих фамилий не пользовались уважением творца.

Михайловский справедливо преклоняется перед Щедриным как перед светлой личностью и как перед первоклассным писателем; но и он вынужден признать, что Щедрин отнесся к Корытникову с чрезмерной жестокостью. Кто более прав в оценке данного типа—Щедрин или Михайловский,—это не важно; может быть, Корытников действительно заслуживает всевозможного порицания. Важен факт, что у Щедрина нельзя найти всестороннего изображения деятельности и физиономии корреспондента.

За отсутствием в литературе типов, которые можно было бы противопоставить Корытникову и Подхалимову, образованный русский человек редко произносит слово «корреспондент» без презрительной усмешки. Потребуйте от него объяснения этого оскор-

[1] Напечатано в газете «Восточное обозрение» от 22 июня 1902 г.

бительного тона,—он юркнет в подворотню и начнет уверять, что пошутил; но от этого не легче корреспонденту, чувствующему под усмешкой не произнесенные фамилии: Корытников и Подхалимов.

Таким образом, люди вполне интеллигентные братски протягивают руку всевозможным темным личностям, ищущим, выживающим и бьющим; поборники света заключают дружеский союз с обскурантами.

Как относится к корреспондентам администрация? Не так давно газета «Волынь» жаловалась на систему дознаний, производимых наиболее просвещенными администраторами после каждой обличительной корреспонденции. Такие дознания, по словам газеты, сводятся к канцелярской отписке и поселяют в администраторах ложное убеждение в том, что «корреспонденты» врут.

«Врут»—это новая черта характера корреспондентов, известная, впрочем, даже читателям, незнакомым со статьей в газете «Волынь». Так вот сущность дела: корреспонденты врут—корреспондентов бьют. Но, просвещенный читатель, не приходила ли вам в голову мысль, что корреспонденты ошибаются (а не врут) чаще всего именно потому, что вынуждены скрывать свое занятие и благодаря этому не могут всесторонне знакомиться с описываемыми фактами? Неприятно быть зачисленным в категорию лиц, по профессии лгущих и подвергающихся побоям. Мало приятного и в том, чтобы получить от вполне интеллигентных приятелей кличку Корытникова или Подхалимова.

Не этим ли в значительной степени объясняется отрывочность, бессистемность, краткость сведений, которые вы можете найти в печати о текущей жизни в местностях, не имеющих своей частной газеты? Не потому ли авторы даже вполне безобидных корреспонденций избегают подписывать свои фамилии?

Профессиональный писатель, как показывает пример Щедрина, относится к корреспонденту не лучше, чем вообще интеллигентный человек. Корреспондент—не писатель, как фельдшер—не врач. Но пусть корреспонденты—фельдшера литературы. Разве деятельность фельдшера заслуживает презрительной усмешки потому только, что она—нечто меньшее, чем деятельность врача?

Много странного в положении корреспондента. С одной стороны, приходится чуть не краснеть за свою профессию; с другой—как только в вас узнали корреспондента, тотчас же начинаются обращения с просьбами: «опишите то-то», «обличите такого-то». Следовательно, в услугах корреспондента нуждаются не одни редакции газет.

Вникнем немного в сущность корреспондентской деятельности. Напомним, что говорил лет 80 назад П. Л. Курье о значении прессы в Америке, выставляя ее как идеал для Франции и, может быть, в этих целях немного идеализируя. «В Америке,—по словам Курье,—все печатают, не скрывая ничего, что может иметь обще-

ственный интерес. Печать там более свободна, чем живое слово где бы то ни было, и ею пользуются осмотрительно, потому что пользуются без всяких помех. Ложь, откуда бы она ни шла, немедленно опровергается заинтересованными лицами. Там не церемонятся ни перед каким обманом, хотя бы и разофициальным; никакое вранье долго не продержится; нет человека, который мог бы лгать и в то же время обязывать к молчанию всякого, кто захотел бы ему противоречить. Ежедневно расходящиеся бесчисленные листки служат как бы школой взаимного обучения. Почти все пишут в газетах. Там, действительно, существуют общественные дела, которыми публика занимается вполне сознательно; каждый, кого ни спроси, рассудит здраво и выскажет свое мнение. Это единственный народ, который читает, и вместе с тем, единственный, который знает все необходимое для того, чтобы повиноваться только закону».

Во времена Курье, может быть, и в самом деле Америка была единственной страной, пользовавшейся всеми благами развитой прессы. Теперь не то. В наше время даже Япония имеет до двух тысяч периодических изданий, в том числе до четырехсот ежедневных газет; даже в Японии чтение газет распространяется до самых низших общественных слоев; и это—несмотря на то, что обычная тема западной-европейской и американской печати (борьба политических партий) мало интересует японское простонародье, не участвующее в выборах. Следовательно, находится достаточно интереса к чисто местным и общекультурным вопросам. Нашелся бы такой интерес и в России, если бы печать стояла ближе к населению и не была до такой степени связана.

Газета у нас странно далека от населения. На всю необъятную Россию в 1900 году насчитывалось только 86 частных газет, выходящих более одного раза в неделю; 42 губернии не имели ни одной частной газеты, как будто эти губернии или лишены грамотных людей, или выработали идеально-неподвижную форму жизни: без разногласий в оценке окружающего, без перспектив в будущее. Если же есть нерешенные насущные вопросы и в этих сорока двух губерниях, то каким путем они решаются? Кем и где обсуждаются? Где гарантии, что при решении будут приняты во внимание все переплетающиеся и сталкивающиеся интересы различных групп населения?

Существует большое различие в значении деятельности корреспондентов в зависимости от того, все ли крупные населенные пункты имеют свои газеты, или же, как у нас, одна газета должна обслуживать громадный район. Редакция может хорошо знать только повседневную жизнь своего города; о делах этого города редакции нужны не корреспонденции, а краткие репортерские сообщения. Курье уверял, что в Америке почти все пишут в газетах: придет кому в голову что-нибудь интересное, он сообщает

немедленно публике. Может быть, так и было когда-то в Америке и, может быть, будет когда-нибудь везде, но в настоящее время в культурных странах и труд репортерства выделился в особую профессию. Как видно из статьи Шиловского («Журнал министерства юстиции» 1901 г., № 8), в Англии выработаны жизнью даже специальные правила и руководства репортерам.

Как поставлен труд репортера в России,—на этот вопрос в печати так же не найдешь ответа, как и на вопрос об условиях деятельности корреспондента. Но репортеры по крайней мере близки к редакции, могут ежедневно получать указания от опытных людей обмениваться впечатлениями и т. д. Несравненно хуже положение корреспондентов, которым иногда по целым годам приходится руководиться догадками и почерпать руководящие принципы деятельности лишь из собственного, не всегда приятного, опыта. Между тем именно в России корреспонденции должны иметь неизмеримо большее значение, чем в странах с большим количеством местных органов.

Часто бывает совершенно недостаточно сообщить голый факт: нужно еще осветить его или поставить в связь с общественными условиями местной жизни, показать его возможные последствия и т. д. Таким образом, в России корреспондент, по моему мнению, сплошь и рядом должен бывает выступать в роли публициста, если желает, чтобы факты были правильно поняты и достаточно оценены. Но не наполнится ли тогда газета шаблонной обывательской публицистикой? Не будут ли бесконечно повторяться одни и те же рассуждения корреспондентов разных районов? Не лучше ли последовать совету Щедрина, который потребовал от Корытникова сообщения только голых фактов?

Прежде всего заметим, что Щедрин обрушился на Корытникова не за рассуждения вообще, а за банальность, избитость его рассуждений. Корытников повторял звонкие фразы, которыми пестрели все газеты того времени. «Выскажите вашу собственную мысль, если она у вас есть, а иначе лучше ограничиться сообщениями голого факта»,—требовал Щедрин.

И он не мог предъявить иного требования. Он всю свою писательскую деятельность посвятил проведению мысли о необходимости критически относиться к действительности, вырабатывать прочные, вполне сознательные убеждения и жить согласно этим убеждениям. Щедрин не мог относиться с уважением к людям, подпевающим с чужого голоса. Не мог бы Щедрин помириться и с тем, чтобы вопросы трактовались лишь с точки зрения интересов родного корыта. Имейте широкие взгляды, оценивайте окружающее с точки зрения этих взглядов, вдумывайтесь в окружающее—таково в сущности требование, которое только и мог предъявить Щедрин к Корытникову со своей точки зрения на литературную деятельность вообще.

«Вдумываясь в окружающее, что обязательно для каждого интеллигентного человека, не держите своей мысли про себя, не бойтесь звания корреспондента»,—хотел бы я добавить, обращаясь к нашей интеллигенции; добавляю это в убеждении, что в головах образованных людей не все по этой части обстоит благополучно.

Вот пример. Якутская область не имеет частной газеты: «Областные ведомости» выходят два раза в месяц: неофициальный отдел в них почти отсутствует. Жители города Якутска живут, таким образом, без печатного органа. Следовало ожидать, что в частных сибирских газетах будут появляться систематически сообщения из Якутска, освещая местную жизнь не только для иногородных, но и для самих якутян. Редакция любой сибирской газеты отвела бы сообщениям из Якутска больше места, чем известиям из каких-нибудь Олекминска или Вилюйска. Между тем из последних двух городов, и даже из Колымска, мы читаем более частые корреспонденции, чем из Якутска. Неужели в областном городе нет грамотных людей? Конечно, интеллигентных людей там не меньше, чем в захолустном Вилюйске. Но что в Якутске нет человека, который понимал бы и ценил печатное слово, который не боялся бы звания корреспондента,—это очевидно. Сколько таких Якутсков на Руси?

Если признать, что в России, по дальности расстояний и редкости газет, публицистический элемент в корреспонденциях желателен и неизбежен, то отсюда следует, что корреспондент не просто регистратор голых фактов: в корреспонденциях должно отражаться миросозерцание их автора. Кому дорого его миросозерцание, тот должен писать, не боясь звания корреспондента.

Но как взяться за дело? О чем можно писать и о чем нельзя? Какая точка зрения, какой тон, какие факты желательны для редакции? Не поведет ли к ошибкам неопытность и оторванность от редакции?

Оторванность—тяжелое и трудно поправимое зло в жизни корреспондента; она гнетет, поселяет неуверенность, заставляет опускать руки. Здесь сам корреспондент бессилен. На помощь должна являться редакция, если она желает хорошо обслуживать район распространения газеты. Лучше всего было бы почаще сноситься с корреспондентами путем частных писем; если же это обременительно для редакции, то следовало бы помещать обращения к корреспондентам в самой газете. Кроме того необходимо, чтобы по легко доступным печатным источникам возможно было начинающим ознакомиться с руководящими принципами и условиями систематической корреспондентской деятельности. Пока таких источников нет, корреспонденты должны давать материал для их составления: нужно почаще делиться с публикой замечаниями по поводу собственной практики.

Потерпев неудачу в хождениях по ближайшему начальству, обы-

ватель иногда обращается к корреспонденту: «Напишите в газету, чтобы такой-то (важное должностное лицо) узнал и обратил внимание». Такие просьбы показывают, что обыватель смешивает корреспонденцию с прошением, а корреспондента с адвокатом. Это смешение понятий нередко проскальзывает и в печати, например в жалобах на невнимание администрации к газетным обличениям злоупотреблений.

Я считаю вредным для достоинства печати указанное смешение понятий. Задача печати—не в том, чтобы обличением отдельных злоупотреблений вызывать немедленные репрессивные мероприятия по отношению к виновным. Жалобы на беззаконие, несправедливость и т. п. имеют в печати значение лишь как повод к проведению в жизнь собственных взглядов автора и как ознакомление читателей с общей картиной жизни. Обличения—сравнительно ничтожная часть газетной хроники.

Смешение ролей корреспондента и адвоката порою выражается, например, еще в том, что обыватель, обращаясь с просьбой пропечатать обидчика, добавляет: «А уж я вас не забуду...» Будучи произнесена некультурным человеком, эта фраза должна вызвать только соответственное разъяснение; в устах же человека культурного она является оскорблением, и ответом на нее должно быть указание на дверь...

Что одними обличениями не исчерпываются роль и содержание корреспонденций, на это указывает Щедрин, спрашивая на своем образном языке: угомонила ли бы публицистическая деятельность Корытникова, если бы градоначальник непрестанно тушил пожары и ходил с обгорелыми фалдами, если бы заседатели не ковыряли в носу и т. д.? Щедрин не решился дать определенный ответ на этот вопрос, имея в виду именно Корытникова как корреспондента определенного типа. В другом месте Щедрин указывает Корытникову, что он не всегда удачно выбирает темы для обвинений и берет для них не всегда удачную обстановку. Неудача выбора состоит в том, что Корытников не берет во внимание условий деятельности обличаемых лиц и не соображает, лучше ли будет, если обличаемые станут неуклонно исполнять свои обязанности. Недаром Щедрин однажды обмолвился иронически, что взятка была русским habeas corpus'ом дореформенного периода: когда формы жизни устарели, нарушение их, из каких бы мотивов оно ни исходило, все-таки лучше, чем соблюдение во что бы то ни стало.

Относительно обличения отдельных лиц я считаю нелишним добавить следующее. Как только обнаружится личность корреспондента, среди обывателей тотчас найдутся лица, которые при его помощи попытаются свести личные счеты с другими обывателями. Явится какой-нибудь Петров и расскажет кучу возмутительных фактов относительно Иванова; но скоро узнаете, что за Петровым, в свою очередь, числятся деяния не менее любопытные, чем за Ивановым

Затем окажется, что Иванов не все только вредит, что и его общественная деятельность заслуживает порой упоминания с хорошей стороны. Корреспондент должен стоять выше симпатий и антипатий к отдельным личностям: его обязанность не произносить приговоры над лицами, а обсуждать явления и общие формы жизни.

Поступать иначе—это значит, по выражению Щедрина, скользить только по поверхности. «Вы, Корытников, только подозреваете, что есть где-то в окрестностях ваших болото, но где оно и какого свойства—это тайна, в которую вам вряд ли суждено когда-нибудь проникнуть». Чтобы стать выше Корытникова, нужно понять, в каких формах жизни заключается болото, и писать против этих форм, а не против личных качеств отдельных исполнителей.

Формы жизни так тесно переплетены между собою, что критическое отношение к одной части их неизбежно приводит вдумчивых людей к пересмотру общего миросозерцания. Чем глубже вы проникаете в явление, чем с более широкой точки зрения обсуждаете его, тем сильнее скажется противоположность между вами и живущей по традиции толпой, тем ярче отразятся в ваших сообщениях идеалы, освещающие ваш собственный жизненный путь.

Жалкое, почти зародышевое состояние русской прессы делает необходимой наличность публицистического элемента в корреспонденциях. Если же корреспондент—не просто летописец, то тем менее основания скрывать свое авторство или вовсе даже отказываться от деятельности из опасения получить от приятелей-интеллигентов неприятную кличку.

Говоря это, я не закрываю глаз на то, что одни словесные убеждения не в силах поколебать многолетнего предрассудка. Предвзятое мнение может быть разбито только коллективным выступлением корреспондентов перед публикой (например в виде съезда), ознакомлением читателя с нуждами и обстановкой корреспондентской деятельности. Как предварительное условие, необходимо общение между самими корреспондентами.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

П. Лепешинский — Четверть века на большевистском литературном посту 3

I. Вместо введения

Как я стал литератором 15

II. В годы после первой революции

Преодоление эстетики 20
Поход против М. Горького 22
Статьи о Ф. Сологубе:
Искусство и Ф. Сологуб 26
Ф. Сологуб и мировая война 29
Леонид Андреев. (Два типа) 30
По поводу одного рассказа 33
Куприн и Арцыбашев 36
По поводу А. Куприна и юбилея И. Ясинского 37
«Беллетрист» В. Винниченко 40
«Свободная совесть» 42
О книге г. Пана 45
О сборнике В. Башкина 47
О Сергее Кречетове 49
Статьи о Вербицкой и переписка:
О Вербицкой 52
Письмо А. Луначарского 54
С. И. Мицкевич — В защиту А. Вербицкой . . . . . —
Письмо А. Вербицкой к. М. Ольминскому 55
Ответ М. Ольминского А. Вербицкой 58

III. Литературное наследство

Статьи о Салтыкове-Щедрине:
Культурные люди и нечистая совесть 60
Салтыков-Щедрин 61
Салтыков-Щедрин 67
Еще о Салтыкове-Щедрине 70
О полном собрании сочинений Щедрина 74
Статьи о Некрасове:
Исправленный Н. А. Некрасов 80
Как исправлен Некрасов 81
Статьи о Толстом:
Тов. Ленин или Лев Толстой 85
Наше отношение к Л. Н. Толстому 86
О. Л. Н. Толстом 89

Ответ А. Луначарскому 91
Статьи о Чехове:
Об А. Чехове и Овсянико-Куликовском 93
Литературные противоречия 103
А. В. Кольцов 112
Утопия 115
Нарушение воли 120

IV. Вопросы печати

Свобода печати и либералы 126
Кто с кем? 131
Об участии в хозяйской печати 135
Что такое корреспондент 139

Ответственный редактор Г. Корабельников
Технический редактор Н. И. Гарвей

*

ОГИЗ Х-70 № 42 Тираж 5000 экз.
Уполномоченный Главлита № Б-21755
Сдано в набор 8 марта 1932
Подп. к печ. 9 июня 1932
Формат бумаги 82XIII 1/32
42X70 176000 знак.
Заказ № 4937
9¼ печ. л.

*